



М. КОЦЮБИНСКИЙ

ФАТА МОРГАНА

М. КОЦЮБИНСКИЙ

ФАТА МОРГАНА

Из сельских настроений

Перевод с украинского



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Печатается по изданию: М. КОЦЮБИНСКИЙ «Повести и рассказы»
Гослитиздат, М. 1953

Перевел Н. Ушаков

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда Андрий Волык проходил мимо главного здания сгоревшего сахарного завода, воронье с криком взвилось над развалинами, внутри там что-то затрещало — и посыпались штукатурка и кирпич. Хотя сахарный завод, давно уже заброшенный, разрушался и зарос травой, в пустых корпусах его время от времени слышался шум, и казалось, это гомон машин и голоса рабочих еще живут в старом помещении. Проходя мимо груды битого кирпича, белых пятен извести, полуприкрытых молодым бурьяном, мимо гнилых трухлявых желобов и черных дыр — окон, из которых будто что-то смотрело, Андрий вспоминал прошлое. Как-кая-нибудь шина, блестящая в траве, словно ползущая змея, или чугунное колесо, наполовину вросшее в землю, вызывали у него перед глазами картину шумной заводской жизни, и он видел себя у вагонеток с сахаром или у аппарата. Тогда он получал тринадцать рублей в месяц!..

— Было время, пане добродзею! ¹ — говорил он громко сам себе и разглаживал седой ус.

Андрий направлялся к старому вязу на вершине холма. С холма сползали заводские строения.

Направо от него серебряной рябью играл на солнце пруд, будто рыбы купались в нем, а за прудом, на другом холме, пряталась в деревьях церковь. Позади, за вязом,

М. М. Коцюбинский назвал свою повесть «Фата моргана», что означает: мираж, видение.

¹ Сударь, милостивый государь (*польск.*).

лежал внизу широкий зеленый луг, прорезанный излучинами реки. Вербы и ракиты серо-зеленым туманом катились по лугу и кое-где закрывали воду. На горизонте в дальних окрестных селах белели колокольни.

Было солнечное воскресное утро на фоминой¹. По церквам звонили. Далекое колокола гудели в ясном воздухе тихо и мелодично, и казалось, это звенит золото солнца.

Андрей глядел на развалины завода и радостно покачивал головой.

— Га! не долго так будет!.. Они как возьмут в свои руки, быстро дадут пар...

«Они» — были немцы или чехи, а может и евреи, приезжавшие шесть лет тому назад осматривать сгоревший сахарный завод. Хотя потом никто уже не интересовался развалинами, но Андрия не оставляла надежда, что вот-вот неизвестно откуда наедут паны, все починят и пустят завод.

Ну, а теперь он в этом уверен, ведь панский пастух Хома Гудзь шепнул ему эту новость. Хома хоть пасет скот, а все же ближе к панам, — ведь он трется около них. Будет завод, будет!..

Иначе, пане добродзею, сущая погибель теперь человеку: заработать негде, земли отродясь не было, подати плати, кругом нужда, а есть надо! Да! велико ли счастье — клочок земли!.. Роятся на своем наделе, а сами черные, как земля... а едят не лучше тех, у которых ничего нет... Хозяева!..

Андрей с презрением сплюнул сквозь зубы.

Вот завод — другое дело. Не страшны тебе ни засуха, ни дожди. Работа чистая, постоянная. Придет срок — получай деньги...

И он тогда пил пиво... За наличные... Чистое, золотое, холодное пиво... Тьфу!.. даже слюнки текут.

Думал: подрастет Гафийка, найдется на завод. Где б она заработала столько!.. И скорее вышла бы замуж. А как же... Там народу много — нашелся бы и жених. Аппаратчик или слесарь... Пусть старуха не душит головы ни себе, ни девке; хозяйский сын не возьмет бедной, не таков свет теперь. А как же...

¹ Первая неделя после пасхальной.

Его мысли текли дальше. Такие легкие, такие прозрачные, как весенний воздух...

Нет развалин. Всюду новые корпуса. Гул машин, шипение пара, множество людей — целый ад. Все движется, живет, все такое привлекательное. И он чувствует силу в руках, а во рту у него вкус холодного пива.

Последний звон замер в воздухе. Из церкви выходят... С горы до самой плотины медленно движется туча народу. Стучат деревенские сапоги, шелестят подошвы, и трепещут на ветру ленты дивчат.

Вот идет Маланка. Маленькая, сухая, черная, в чистой сорочке, в старенькой свитке. Андрий не видит ее лица, но знает — глаза ее опущены вниз и губы поджаты. Мы хоть бедные, да честные. Хотя и живем трудами рук своих, но и для нас есть место в церкви. Рядом с ней Гафийка, как молодое деревце из господского сада. У Андрия под усами блуждает улыбка. Он знает, что в селе нет девушки лучше. Семнадцатый год пошел с филипповок ¹.

— Га-га-га! Вот где он молебен служит. Здорово!..

Грубый голос доносится снизу, и старое безусое лицо панского пастуха Хомы Гудзя показывается из-за покосившегося забора.

— А вы ж думали — где? Дай боже...

— Черта лысого сидел бы я тут — уж лучше у Менделя... Сучий сын привез свежего пива, коли не врет... Я-таки сказал ему: чтоб тебе, говорю, такие болячки в печенку, и твоей Суре, и всему выводку твоему...

— Вот купите, тогда и распробуем, какое оно...

— Чтоб вы все посдыхали, — какая у вас правда, такое и пиво... А что, думаете, не куплю? Идем выпьем, бей его лихорадка...

— Купите? А с волами ж как? Сам пан присмотрит?

— Пусть они передохнут у него к ночи... Он думает, так ему перетак, — я в проводы ² погоню скот пасться? Лопнешь, не дожدهшься... Кое-что хочу сказать вам...

— Ну? ну?

— Приходите после полудня к Менделю, скажу...

— Ну! ну!

¹ Пост перед рождеством.

² Неделя после пасхи.

— Поговорим, выпьем пива, стонадцать...— конец фразы исчез за тыном.

Андрей спешил домой. Перед ним лежала дорога, пыльная уже, хотя была ранняя весна. Серо-зеленые поля ложились с обеих сторон. У дороги белела его халупка, словно шла куда-то из деревни и остановилась отдохнуть. По дороге тянулись люди с палками, узелками. Вот Гафийка вынесла одному воды. Стали и разговаривают. Снова подходит группа... Еще ряд... Двигутся и движутся. А тот стоит. Эге-е! Да это ж целый клин журавлиный. Идут и идут. Куда-нибудь в Таврию или на Кубань. Вот тебе и хозяйские сыны, хлеборобы... Своя земля просит рук, а он снялся, да и... А что же делать на своем клочке? Развелось их. Нет на вас войны или холеры. Одни из села, другие в село, вроде этого Марка Гущи, которого недавно привели в деревню арестантом... Получал, пане добродзею, в Одессе на фабрике семнадцать рублей в месяц и начал бунтовать. Мала, говорит, плата, много работы, не хотим, говорит, своими мозолями толстобрюхих обогащать. Начальство ему одно, а он вишь ему другое... Ну, не хочешь, так получай: попарили нагайками, да и айда домой под караулом... Да я б такому бунтовщику...

А тот все стоит. С кем это она заговорилась? Кажись, Прокоп Кандзюба? Да, он. Вот вышла на порог Маланка, да и спряталась... Пускай девка постоит с хозяйским сыном... Смотри, еще посватается! Ха!.. А как же!..

Андрей подошел к хате. Кривая, покосившаяся халупка с черной крышей и белыми стенами стояла среди покинутых, с забитыми окнами жилищ, когда-то построенных заводом для рабочих, и казалась чем-то живым и теплым среди холодных мертвецов. Возле хаты серели вскопанные грядки, от ворот к порогу вела тропочка. Зато соседние огороды были полны мусора и битого кирпича; необработанная земля щетинилась прошлогодним бурьяном, и на черных развалинах всегда сидело воронье.

Андрей застал Маланку кроткой и ласковой, как и обычно после обедни. Значит, она будет бранить его сегодня не так, как в будни, а со сладкой улыбкой и нежными словами. Поглядывая искоса на плотно сжатые женины губы, он с неестественной поспешностью сбросил с себя свитку и расселся на лавке, как пан. Га! Разве он не хозяин у себя дома! Однако Андрей лелеял тайную

надежду, что все обойдется как-нибудь и жена его не заденет...

Но как раз в это мгновение, снимая с полки миску, Маланка бросила на него взгляд.

— Нанялся?

«Вот начинается!» — подумал он, но продолжал сидеть с невинным видом.

— Что?

— Нанялся в экономии, спрашиваю?

«Вот чертова баба: знает, что не был я там, а спрашивает».

— Да дай ты мне покой с этой экономией... не то у меня в голове теперь. Вон, говорил Гудзь, скоро сахарный завод строить будут.

— Слушай, сердце, Гудзя, слушай, Андрийко... пойдешь с сумой, да и мне доведется.

Она поджала тонкие губы и подняла глаза к потолку. Что ж! она молчит, в праздник грех браниться, но если бы у всех, кто врет про завод, отсохли языки, то было бы очень хорошо. Завод, завод, а где он? Ну, был завод, а кому от него польза, — Менделю? Может, неправда? Может, не у Менделя оставлял он заработок? Что у них есть, чем они живы? У нее уже руки высохли от работы, она уже все жилы вымотала из себя, лишь бы не сдохнуть, прости господи, с голоду...

И она совала ему в глаза сухие, черные, словно железные, руки, голые до самого локтя.

Ведь муж не работает, ой не заработает, сердце мое. Он думает о пиве, а нет в мысли, чтобы...

И пошло. Она его отчитывала, она его исповедовала, она кропила его, окуривала ладаном и сыпала чертями так осторожно, так деликатно, как только можно в воскресенье после обедни, а он, красный, как вареный рак, сперва молчал, а потом и сам пошел взвизгивать тонким надорванным голосом.

Наконец, победил.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Трижды тьфу на твою землю! Пусть она у тебя провалится! Не наймусь я и не буду на земле копать. Она отняла у меня все силы, да и пустила на старости лет голого. Тьфу, и еще раз тьфу на нее...

Тогда Маланка стала, как столб, и простерла руки к небу.

— Что ты говоришь, неблагодарный, опомнись! Да ты становись на колени, да целуй ее... ешь ее, землю святую, она тебя кормит... в ней тебя и похоронят, человече...

Она стояла белая как мел и в самом деле испугалась.

Тучи разогнала ласточка. Вбежала Гафийка, поспешно пряча что-то за пазуху. Этот чистый, выхоленный, будто вылизанный матерью зверек, тугой, как пружина, с круглыми бронзовыми руками и ногами в золотых волосках, эта весенняя золотая пчелка внесла в хату нечто такое, от чего белые стены под низким потолком улыгнулись, голубь перед образами повернулся на нитке и казаки из красной бумаги, наклепленные на стенах, подбоченились.

— Мама, давать обедать?

— Давай, давай, Гафийка...

Маланка сразу отошла.

— Да чего ты вертишься в хате, будто волчок? Так и плоски перебьешь. И в церкви все вертелась и оглядывалась...

— Да его и не было в церкви.

— Кого «его»?

— Да это я так...

— Что с тобой, девка, сегодня: едва борщ не перевернула.

— Страх, рассказывает, что делалось... Народу, говорит, как на войне, сила огромная... А конные наступают, теснят. «Расходись!» — кричат. А те: «Не пойдем, давай нам наше... мы за правду...»

— Да кто рассказывает?

— Марко... недавно пришел из Одессы.

— Гущин? Говорят, попался в краже, отсидел в тюрьме, да и привели сюда на радость старому отцу.

Гафийка вспыхнула:

— Вранье! Это люди врут. Он ничего не крал, вот ей же богу!

— Да замолчите! — крикнул Андрий. — Какая там кража! Мне урядник рассказывал, когда я ходил на почту. Он, Гуща этот, не крал, а народ бунтовал. Такому, урядник говорит, в тюрьме бы гнить, а не на воле быть...

— Да их там, тату, обижали.

— Что ты понимаешь!.. Вот только увижу, что он тут туману напускает да книги людям читает — сейчас же руки назад, да и к уряднику.

— Вот напали... не знают сами за что...

— А тебе какое дело? Ты у меня с ним, гляди, не водись, увижу, пане добродзею, так...

Но он не кончил: как раз в тот миг, когда Гафийка нагнулась, чтобы вынуть из печки горшок, у нее из-за пазухи высунулась книжка и упала на пол. Гафийка оставила горшок, схватила книжку и, вся красная, с глазами, полными слез, мгновенно выбежала в сени. Андрий перевел удивленный взгляд на Маланку.

Но Маланка была уже не святая и не божья. Она сразу забыла, что в воскресенье нельзя браниться, и сверкала на мужа зелеными глазами.

У Андрия была хорошая приправа к воскресному обеду,— тем более, что, сколько ни звали Гафийку есть, она не шла уже в хату.

Одинаковое мнение о Гуще помирило стариков.

Ну, дал бог воскресенье, можно отдохнуть. Маланка села на завалинке и положила на колени руки. Андрий куда-то отправился, Гафийка на танцы ушла, а в хате тоска.

Солнце стоит низко, так в три человеческих роста от земли; пустые и ободранные хатки отбрасывают неровные тени. Пыльная дорога из-под Маланкиных ног бежит в поле. Вокруг пусто. Молодежь гуляет на площади; старики разговаривают у ворот, а у Маланки обычные гости — думы.

Ох, боже, боже, коротка жизнь, а как трудно ее прожить. Андрий снова не нанялся. И так каждый год. Легкого хлеба ищет. Всю, говорит, силу напрасно отдал земле, больше не хочу. Вновь станет рыбку ловить... на почту сбегает, если пан пошлет, зайца подстрелит. Люди жнут или косят, а ее Андрий идет по тропинке, кожаная сумка через плечо, брыль на затылке, и палкой помахивает...

Пылит дорога. Кто это едет так быстро? Ага, верно, паныч Леля, из соседней экономии в гости едут в усадьбу. Конечно. Вот и панна Тося... и горбатая панна Ганна, и паныч Петрусь. Летят пегие лошади, в туче пыли смеются молодые лица, кивают ей. Маланка встает, низко кланяется, будто образам, и смотрит вслед, как клубится за брычкой позолоченная солнцем пыль.

Все они выросли при ней, на ее глазах. И вдруг запах вкусного сытного борща повеял на нее откуда-то. Она ела такой борщ, служа у панов. Давно это было, а теперь вспомнилось, когда сидят на одной картошке. Маланка садится и снова кладет черные руки на колени. Вот где они почернели, эти руки: на работе у панов. Когда ей было восемь лет, помер отец, а к двенадцати годам у нее никого уже не было, кроме хозяев. После матери остался старый сундук, кое-какая рвань и заплатанный кожух, да и только.

Сперва она помнит себя черной, вечно в свинарнике, около панских свиней. Потом она служила в горницах, все время била посуду, а ее била пани и не давали проходу панычи. Потом приказали ей варить еду для работников, и она варила, пока не состарилась в девках. Тихая, покорная, всех слушалась и плакала по углам. Плакала, что работает на чужих, сохнет, теряет силы и никто не сватается. Плакала потому, что любила землю, огород, поле, а вынуждена была варить целому табуну прожорливых работников. Вокруг была земля, такая черная, рыхлая, плодородная, весной пышная, осенью богатая, а никто не звал ее на эту землю, никто из хозяйских сыновей не хотел сделать ее хозяйкой. Потом вышла за Андрия. Как это случилось, что она пошла за него, вечного батрака, старого холостяка, бобыля, у которого не было даже собственной хаты, не то что земли,— и сейчас не знает. Сошлись нужда с нуждой и родили беду. Словно знала — так плакала на свадьбе.

С одной стороны поют родственницы жениха, с другой — подружки невесты, а в хате, как в улье, в окно глядят работники...

Імберу, матінко, імберу,
Вивини рубочок з паперу...¹

А у нее подкатилось что-то к горлу, душит, и она бьется головой об стол, голосит и умывает слезами и тогда уже черные руки.

То судьба ее плакала тогда.

Уносились года напрасно, как листья по Дунаю.

— Киш, треклятые... киш!

¹ Имбиря, матушка, имбиря,
И достань бумажное полотенце...

(Украинская свадебная песня.)

Маланка вскочила с завалинки и швырнула комочком земли. Наседка с цыплятами рылась в грядках и, потревоженная, сердито заклохтала и нахохлилась. Желтые цыплята раскатились по грядкам, как горох. Перепуганные, снялись с соседней кровли грачи и забили крыльями над осыпавшейся соломой.

Маланка успокоилась и снова села на завалинку. Солнце опустилось еще ниже.

— Эге, что-то Гафийка задержалась на танцах. Пусть погуляет. Только детям и воли, пока у матери да у отца. Да и то людям глаза колет. Говорила кузнечиха: «Держат Гафийку, словно барышню, в работницы не пускают — богатеи нашлись...» Пошли тебе, прости господи, столько болячек, сколько у нас несчастий. Хорошо тебе говорить, когда у тебя полная хата девок, а у меня одна, как душа. Одно утешение на старости лет. Вынянчила, выходила, мыла и вычесывала, а теперь отдай людям! Мало того, что люди надо мной натешились, всю силу взяли, всю кровь высосали, а теперь еще и ребенка отдай им... Не дождутся!..

Не такую она ей судьбу готовит, она выдаст ее за хозяйского сына. Девка здоровая, чистая, хоть воды напейся. Недаром хлопцы засматриваются. Прокоп посватается; затем и пошел в Таврию, чтоб было на что свадьбу справить... Осенью сватов пришлет, она уже видит, что, куда и к чему.

Перед глазами Маланки встал луг — зеленый, веселый, над рекой... Они с Гафийкой коноплю дергают. Такая хорошая молодница Гафийка! Голова повязана платком. Дергает она коноплю и напевает. В колыбели дитя спит. Прокоп привез ячмень, стожок ставит. И так ей весело, старухе, так легко, словно она помолодела... Стоят огороды, словно в венках. Капустные кочаны завиваются, фасоль уже пожелтела, ветер шумит в коробочках мака, тыквы разлеглись, как откормленные кабаны, а картошки уродилось — даже ботва переплетается. Это ее черные руки поработали тут, — каждую свеколку, каждую луковку сама она посадила, сама и соберет, если господь приведет. Теперь она хозяйка. Не своя земля — так дочкина. Хоть на старости лет дождалась... И она справит себе красные сапожки, мягкие, козловые, с кисточками, как у кузнечихи. С той поры как вышла замуж, — вот уже не восемнадцать

ли годков прошло,— не перестает она мечтать о таких сапожках, ежегодно откладывает деньги, но деньги разойдутся на что-нибудь другое — и сапог нет. Надеть такие сапожки и белую намитку¹ да пойти в церковь. И чтобы так и похоронили...

— Посиживаете? С праздником.

Маланка вздрогнула. Ага! это кузнечиха.

— А как же! И вы будьте здоровы... Дал господь праздничек — празднуй. Не трудись, не работай. Бог сказал: есть будни — трудись, а в воскресенье даже из-под ноготка не выколупывай,— и это работа. Лежи, сиди, пальцем не пошевели.

Маланка была сама сладость. Она так улыбалась, будто разговаривала с панами в усадьбе.

— А я с танцев. Только и осталось нам, что хоть посмотришь на молодежь. А ваша Гафийка все с этим, все с одесским паньчом, не знаю, правду ли о нем люди рассказывают, с Марком Гущей... Все в паре, словно голубки. Сказано — молодость. Будьте ж здоровы...

Маланка попрежнему сладко улыбалась, хотя в душе у нее все кипело.

«Вишь толстуха, трясет салом, разносит пересуды!» — проводила она кузнечиху неприязненной мыслью. И ей почему-то вспомнилась утренняя сцена с Гафийкою.

На улице тем временем удлинялись тени.

Под тынами играли девочки в помятушку: небольшие босые ноги подбрасывали пыль трижды в одну сторону, трижды в другую. И казалось, что в пыли играет стайка воробьев. Дальние поля розовели. С низин летели в деревню аисты и поблескивали белыми крыльями. Весенний вечер навевал думы.

«Как ты прекрасна, земля,— думала Маланка.— Весело засеять тебя хлебом, украшать зеленью, убирать цветами. Весело обрабатывать тебя. Только тем ты нехороша, что не держишься бедняка. Для богатого твоя красота, богатого кормишь, одеваешь, а бедного принимаешь лишь в могилу... Но подождите, подождите! Еще дождутся наши руки и станут обрабатывать собственные нивы, собственные огороды, собственные сады... Поделят тебя, земля, ой, поделят. Как они наедут, так и поделят, неда-

¹ Повязка из кисен у замужних женщин.

ром идет слух,— уже что-то есть. И моему дадут... Хватит тогда рыбку ловить... Хочешь не хочешь, становись, пане добродзею, за плуг... Ох, боже, боже, хоть на старости узнать такое счастье — дитя свое вывести в люди».

А на улице начиналось движение. Бежали дивчата, молодницы, дети с палками, хворостинами. Шелестели подола, топали босые ноги, лаяли потревоженные собаки. «Степа-ан, беги овец разбирать!..» — «Беги сама-а!..» — «Мама сказывали тебе,— чтоб тебе, черту, лопнуть!» — «Отец сказывали,— чтоб тебе сдохну-у-уть!..» — «Наших шестеро, смотри, Марийка!..» — «Не растеряй ягнят, как вчера, не то выдеру!..» — «Что-о! Где-е?» — «Тю-у! га-а!..»

Солнце садилось красное. Окна пылали, как печи, стены хат стали розовыми, по белым сорочкам разлился красный свет. Издалека шла на деревню туча пыли. Она все приближалась, росла, подымалась до неба, наконец солнце нырнуло в нее и рассыпалось розовой мглой. Оттуда доходили какие-то тревожные звуки, будто дети плакали или где-то цепи стучали на гумне,— и вдруг отара залила улицу и всколыхнула воздух нескладным бляением. Живая масса овечьих тел терлась шерстью, дрожала и колыхалась, как студень: целый лес тонких ножек замелькал перед глазами, голые глупые морды раскрывали рты среди розовой пыли и плакали: «Бе-е-е!.. ме-е-е!» В розовом тумане, словно тени, сновали люди, возникали и исчезали неясные очертания хат, в море овечьего вопля терялись остальные звуки; весь этот шум и беспорядок напоминал сон. Позади отары шел черный чабан, большой, еще более высокий от неверного освещения, подобный мифическому богу, шелкал кнутом и кричал диким, громким голосом, покрывая все:

— Гарья!.. Триш-триш!.. Гей!..

И уже ничего нет на улице; все исчезло, как сон, пыль медленно садится на землю, а вечерний воздух все еще дрожит живым аккордом замирающих звуков.

На землю глянули тихие звезды.

Синие стены, в углу барахло, залитый пивом стол. Тесно в каморке у Менделя.

— Не морочьте мне голову, Хома, говорите скорее: будет завод? Скажите — будет?

Пиво пенится в зеленых стаканах, и шумит в голове.

— Сказал же: будет.

— О! о! А зачем советуете отдать Гафийку внаймы?

— Советую. Все равно пропадет девка. Наест, напьет дома, тебе же хуже. А у нее одна судьба — наняться. Думаешь, возьмет кто бедную? Поседет в девках. Отпускай работать, пока берут. Завтра же отведешь в Ямище к эконому: добрый панок, чтоб у него язык отсох. Что ж, будем сватами? Потому тебя и звал к Менделю.

— Не говорите мне об этом, не люблю. У меня и в мыслях не было такого.

— Пюсылай, Андрий!

— Оставьте, Хома! Лучше выпьем.

— Что ты чванишься? Нищие, несчастные, животы от голоду присохли к спине, а они важничают. Говорю — посылай, будешь каяться.

— Э, я этого не люблю. Чего без толку говорить!

Андрий покраснел и встал из-за стола.

— Садись, может неправда? Думаешь, ты человек? Собака. Какое наше житье? Собачье. Да ты сиди.

Гудзь положил Андрию на плечи свои здоровенные руки и посадил. Потом приблизил к нему безусое, красное от пива лицо, пышущее жаром.

— Ты не крути. Ты мне скажи: сколько лет прожил? Пятьдесят? Век доживаешь? А где твои молодые годы, где твоя сила, покажи свою работу. Мозоли показываешь? Покажешь еще и горб. Всю жизнь с тебя шкуру драли, а ты, вол, в плуге ходи. Наша судьба такая: трудись весь век — все не человек. Ты взгляни на меня: думаешь — Хома перед тобой? Скотина. Как пас с малых лет скот, так и сейчас пасу. Весь век со скотиной, и сам скотом стал. Всю жизнь хвосты видел вместо людей, копался в навозе, в навозе спал, на навозе ел, на навозной куче и подохну. Я забыл, как в хате спят, стонадцать чертей ему под хвост. Рубаха на тебе заскорузла, как кора на дереве, штаны перемазаны в воловьей крови, потому кровь волам пускаю. Рук не могу отмыть от навоза. Сяду с работниками обедать, каждый нос воротит — смердит. А ты думаешь, хорошо пахнет? Бегу от людей, к волам бегу. С волами разговариваю. К ним обращаюсь, тоску свою изливаю, а они жуют, да мычат, да хвостами помахивают. Только у меня и утешения. А ты думал — жена со мной заговорит, да еще

к сердцу прижмет... дети защечечут... своя хата согреет? Ха! С волами и состарился холостяком, чтоб им лопнуть. Теперь радуйся на старости, чтоб он подавился, душа из него вон, чтоб ему сдохнуть, напасть его возьми, так ему перетак... Пусть...

— Эй, что кричишь, человек, что бранишься?

— А? Что бранюсь? На душе легче; как соберутся там тучи — выругаюсь и легче... не бранился б — сгорел. Такую злобу в себе чувствую, что душа жаром пышет... Как припечет, как припечет, — так взял бы в руку кувалду, да и перебил бы всех. Ходил бы из хаты в хату, да по голове, да по голове. Одного за то, что пьет человеческую кровь, а другого за то, что не заступает. А потом поджег бы, чтоб все огнем запылало да пеплом развеялось, чтоб только остались голая земля да ясное солнце.

Хома стоял в горнице, высокий, под самый потолок; глаза его смотрели куда-то через стены; безусое, сморщенное, как у бабы, лицо перекопилось. Он даже дрожал. Потом вдруг увял, опустился на лавку и единым духом выпил пиво.

Андрия задело за живое. Он тоже хотел, чтобы на него обратили внимание, выслушали всю его жизнь, какой она предстала перед ним тут, в тесном шинке. Дожил до седых волос, а хорошего не знал, ой, нет...

— Я так думаю, Хома, если человек работает...

Но Хома опять сердился:

— Пропади ты пропадом. Одному все, другому ничего. Разве я не видел, как старая пани...

— Если человек работает, он должен что-то получать за это. А раз земля мне ничего не дает...

— ...Старая пани всю зиму топила печки полотном, которое от барщины осталось...

— ...Ну, а раз земля ничего не дает, на черта она мне? Все равно мне, батрак я — на своей земле или на чужой. Все равно батрак. Правду вы...

— ...Слежалось полотно в кладовых. Люди просят: дайте хоть на рубашку, пусть труд человеческий зря не пропадает. Да ты слушай.

— Слушаю, слушаю. Верно, правду вы говорите: да, собачья жизнь у нас. Из меня тоже вымотали все жилы. Ведь я всю жизнь набивал чужую глотку. Еще когда был завод, жил как-то, а как сгорел...

- Конечно, сгорело, все полотно сгорело.
- Какое полотно?
- Как какое? Я ж рассказывал.
- А, так, так. Ну, выпьем лучше. За ваше...
- А как же с Гафийкой? Отдаешь в работницы?
- Да будет вам. Выпьем.
- Ну, черт с тобой, не хочешь, как хочешь.— Хома выпил единым духом пиво и ударил стаканом об пол. На звон стекла прибежал перепуганный Мендель.

Был какой-то праздник. Гафийка сидела на завалинке перед хатой. У ног ее возились куры и кудахтали, требуя корма. На завалинке лежала раскрытая книга.

— Киш, киш, ступайте рыться под тыном...— гнала их Гафийка.— Ну, чего кудахчете, глупые? А ты что, пеструшка, вытягиваешь шею и заглядываешь в руки? Я уже тебя кормила. Вам бы только есть, глупые. Сердишься, что так говорю? А вот спроси Марка, послушай, что умный человек скажет. Он вам сказал бы: глупые, испокон веку глупые. Вам дают горсточку пшена, а отбирают все ваши яйца или режут вас. А ты, петух, по-глупому хлопаешь крыльями, храбришься. Если б ты был такой смелый, как Марко, не давал бы ты своих детей панам на жаркое. А может, давал? Ну, да ведь ты петух, а Марко орел. Ты послушал бы, что он говорит... Он говорит... да что ты понимаешь, ты ничего не разберешь! Был бы ты поумнее, увидел бы, что и люди те же куры. Ну что раскудахталась, беленькая? Почему смеешься? Думаешь, я не знаю, что у вас хорошо? Думаешь, любишь, кого хочешь, а я должна выходить за Прокопа, потому что мать меня за него сватает? Глупая, глупая... Да пусть меня жгут, пусть режут... пусть лучше закопают в землю! Слышишь ты, пеструшечка? Ну, ступай прочь, если не веришь и головой вертишь! Не бойся, Марко никому меня не даст... он орел... а над ним, знаете, куры, воронья, воронья... заклевать готовы. Ведь и мужики на него, и староста, и даже отец нападают... а он добра хочет людям. Не отец, а Марко... Слышите, куры; какой он добрый, Марко мой... За это его хлопцы и дивчата страсть как любят и слушают. А ты куда, проклятый! Киш! видишь — наследил на книжке! Что мне Марко скажет, как увидит на ней петушьи следы? Ска-

жет: петух больше прочитал, чем ты. Ну, теперь все бегите, киш,— мне надо читать. Подвинусь ближе к солнышку, пускай и оно заглядывает в книгу, пускай и оно читает... Ну, давай вместе!

С погодой что-то творилось. Весна стояла сухая и ветреная. На огородах все сохло, хлеба на поле не росли, по дорогам носились целые облака пыли. Люди просили дождя, потому что все предвещало голод. Цена на хлеб внезапно подскочила, и это так встревожило Маланку, что она каждую ночь видела дурные сны. Зато, чем хуже было вокруг, чем больше надежды хлебопашцев увядали, тем все больше овладевали Андрием мечты о заводе. Как Маланке — дорогая мука, так Андрию снился завод. Иногда он вскакивал среди ночи и спросонья, с каким-то испугом в голосе спрашивал Маланку:

— Был гудок?

— Какой гудок?

— Ну, завод гудел? — сердился он.

— Опомнись... это у тебя в голове гудит, по ночам не спишь,— ворчала потревоженная Маланка, зевала, вздыхала и не могла заснуть до утра. Андрия пожирало нетерпение. Он время от времени бегал на развалины, что-то соображая, прикидывал, высчитывал. Потом бегал по людям, расспрашивал, пускал слухи, и когда они возвращались к нему, значительно измененные и более решительные, он радовался, хвастался Маланке и верил. Даже к своим обычным заработкам относился он теперь легко и не искал их.

Маланка упрекала. Чем дальше, тем все труднее и труднее становилось найти какую-нибудь работу. Трава сгорела, в экономиях больше не нанимали. Подходя к печи, она просто с ума сходила, не зная, что варить. Дома ничего не было, ее вечные просьбы дать взаймы наскучили всем и даже самой Маланке. Больше всего сердце болело у нее о Гафийке. Такая молодая, единственное дитя — и должна голодать. Каким-то чудом она раздобывала для нее и приносила под фартуком горшочек ягод или свежую паляницу. Андрий редко обращал внимание на еду. Голова его была полна заводом, но иногда и он отодвигал пустую похлебку и начинал ворчать. Маланка ждала это мгновенье. Она вся закипала злорадством и бросала ему в лицо весь яд, всю накипь своего сердца.

Под одной крышей жили два врага, и хотя каждый из них уходил в собственные мысли и даже избегал другого, но довольно было какой-нибудь мелочи — и злость трясла их обоих, как лихорадка.

Одно их соединяло, — это мысли о том, что Гудзь советовал отдать Гафийку внаймы.

— А ты что ж, плюнул ему в глаза? — допытывалась Маланка, а сама, усмехаясь, думала: «Подожди, подожди, вот придет осень, тогда посмотрим...»

— А я так рассердился, что едва не побил Хому! Ей-богу! — хвастался Андрий. — Такое выдумал.

— Ты что тут делаешь?

Маланка вытаращила глаза и остановилась на пороге. На шестке горели щепки и кипел горшочек. Андрий смотрел на огонь: весь красный, разгоряченный. Застигнутый Маланкой врасплох, он улыбался неуверенной, глупой улыбкой. Маланка подошла к печи, придвинула горшочек и заглянула в него.

— Ты рыбу варишь? — спросила она испуганным голосом и побледнела.

Андрий как-то засуетился. Сунул горшочек обратно, обложил его жаром и молча улыбался.

— Слышишь, Гафийка, он рыбу варит! — вскрикнула Маланка.

В голосе ее слышался такой ужас, словно в горшочке варилось по крайней мере человеческое мясо.

— С ума сошел! Он с ума сошел. Ей-богу, с ума сошел! — кричала Маланка, бегая по хате, как на пожаре.

И вдруг остановилась перед Андрием, всплеснула руками и, так и застыв, смотрела на него удивленными, полными негодования и страха глазами.

Он рыбу варит! Линя, пойманного утром! Такого жирного, весившего не меньше четырех фунтов! Не отнес в усадьбу! Не продал пану! Ой, светопреставление! Такого еще не бывало с тех пор, как Андрий рыбу ловит! Они еще ни разу не съели большой рыбы, которую едят паны. За такого линия можно было взять два злота¹, а он сварил.

¹ Старинная серебряная монета пятнадцатикопеечного достоинства.

Все это, плача, выкрикивала Маланка Андрию в спину, под бульканье в горшочке и потрескивание сухих щепок.

Андрий старался все обратить в шутку.

— Не скули, старуха, садись да поешь рыбки. Нет мяса лучше свинины, нет рыбы лучше, чем...

И он поставил горшочек на стол и налил в миску ухи.

— Трескай сам, чтоб ты сдох! Мы пухнем с голоду, в хате ни крошки хлеба, а он рыбу варит!

Андрию было неловко: Маланка говорила правду, но ему так хотелось рыбы, уха так аппетитно пахла, что ноздри его трепетали и раздувались.

Сопя и отдуваясь, он засел за рыбу, и чмокал губами, и хлебал уху так громко, будто хотел заглушить женино причитание.

А Маланка бушевала. Кроме того, что она горевала об испорченной рыбе, она была голодна. Она ослабела от голода, ей так хотелось чего-нибудь горячего, вкусного, необыкновенного, а запах свежего линия щекотал ноздри, перехватывал дыханье; ее даже тошнило от сильного желания поест. Однако она понимала, что не может приступить к еде, и еще больше бранилась.

— Не грусти, жинка, вот поставят завод, тогда заработаю...

— Чтоб ты так жил, как тот завод будет!

Андрий поднял глаза, и они на мгновение остановились, он смотрел куда-то в пространство, за стену, за пределы хаты, и сразу стало ясно ему, что действительно завода не будет, что это напрасные надежды, что лучше бы он не варил рыбы, которую можно было б продать и купить хлеба. И вдруг рыба утратила вкус, желание есть пропало, и ему захотелось уйти...

Андрий взял шапку и вышел.

Остатки рыбы остывали на столе, а Маланка с дочерью молча сидели по углам и думали горькие думы в сумерках уходящего дня. Печаль стояла в хате, обнявшись с тишиной.

Потом мать и дочь вдруг поднялись, подошли, словно сговорились, к столу и молча принялись за рыбу. Они съели все до конца, обсосали косточки, выхлебали уху и, как голодные кошки, вылизали даже миску.

Андрей собрался на почту: перекинул через плечо кожаную сумку, взял в руки палку. Тут вбежала Маланка. На ней лица не было. Бледная, задыхающаяся, глаза горят, и вся дрожит.

— Иди... меряют...

Андрей уставился на нее.

Она не могла говорить, держалась рукой за сердце и тяжело дышала. Другой рукой, запачканной в земле,— Маланка только что полола,— она размахивала у него перед глазами и показывала на дверь.

— Иди же, меряют...

— Кто меряет? Что?

— Паны, ох!.. Наехали, станут землю делить...

— Какую землю? Что ты мелешь?

— Всякую... между мужиками... Иди посмотри, чтоб нам отрезали недалеко, ближе к деревне, еще какое-нибудь болото получишь.

— Свят, свят, свят! Опомнись. Мне на почту надо.

Маланка позеленела.

— Ты пойдешь у меня?

Она подскочила к нему, страшная, как дикая кошка, с перекошенным ртом, с горящими глазами, бледная, как привидение.

— Ты пойдешь у меня сейчас же! — произительно визжала она.— Тебе, может, все равно, а мне нет. У тебя ребенок! Ты хочешь зарезать его! Ты всех нас режешь. Сейчас же у меня иди! Люди разберут, что получше. Слышишь? Ну!

И, видя, что он стоит, ничего не соображая, и смотрит на нее, она схватила с шестка валец и замахнулась.

— Иди, иначе тут тебе и смерть!..

Она готова была его убить, Андрей это видел.

— Тю, глупая! — пожал он плечами.— Видишь — иду.

Он сопел, как кузнечный мех, и едва поспевал за Маланкой.

Вечером вернулась Маланка домой веселая, почти счастливая. Она бегала по хате, как молодая, и мысли ее парили, словно белые голуби на солнце. Она улыбалась. Какие чудные паны...

Ходят себе по полю да меряют. Она им в ноги: «Паны мои, лебеди, не забудьте меня, бедной, отрежьте ближе, там, где пшеница рсдит», а они хохочут. «Иди, говорят,

бабка, домой. Мы не для тебя меряем». А сами хохочут, пошли им боже всего доброго. Они думают, если она глупая баба, так уж ничего и не понимает... Пстойте, постойте, может и у нее голова не напрасно на плечах... Разве она не поняла, что они ее обманывают? Скажи мужикам сразу, что это для них землю делят, так тут бы такой содом пошел, что живьем сожрали б друг друга... Каждый бы из-за лучшего дрался. Ну, да они будут помнить бедную бабу, они ее не обидят. Вот если б еще и Андрий просил, а то стал, как пень, чтоб тебе...

Не кончила проклятия, не могла браниться нынче. Она была такой доброй сегодня, ей было так весело, так жалко всех. Приготавливая ужин, она даже напевала, а трескучий огонь над сухим хворостом будто радовался вместе с ней. Андрию она подала ужин с уважением, как хозяину, у которого собственная земля и хозяйство, сама же не могла есть, не хотелось. Все, за что ни бралась, делала торжественно, будто в церкви служила, а сама улыбалась своим мыслям. На ночь вымыла Гафийке голову щелоком, расчесала густым гребешком волосы, и они даже заблестели; сама заплела их в мелкие косички, с лентами. Чтобы голова у дочки была, как солнышко. Чтобы девка ходила не хуже других.

— Может, ты новый жилет наденешь, а то старый совсем разлезся? — спрашивала она Андрия и достала из сундука единственную его праздничную одежду. — Потешь душу ягодками, кузнечиха дала...

Андрий давно уже не видел ее такой ласковой. Сердце ее размякло, в ней все пело. Пела колосом своя нива, пели жаворонки над ней, пел песню серп, подрезывая стебель, раздавались песни по сенокосам, наконец пело сердце, полное надежд. Улыбалось счастье. Не только собственное, а и Гафийкино. В ногах чувствовалась крепость, в руках — сила. Черные жилистые руки были точно из железа.

С этого дня Маланка часто бегала на панское поле смотреть, как меряют паны. Они еще бродили по полям дня два, потом уехали. Маланка постоянно думала об этом, расспрашивала людей, предавалась надеждам. Говорили разное. Но Маланка хорошо знала, к чему это клонится. Она начала готовиться. Когда полола огород у богатого мужика, не хотела брать денег, а просила отсыпать пшеничным зерном, чтоб у нее был хороший сорт

пшеницы. Это для посева, на развод. Когда ела яблоко, осторожно собирала зернышки и сушила на окне. Пригодятся. Ничто не могло ей доставить большей радости, как горсточка семян, выпрошенная у хорошей хозяйки или заработанная на поденной. Она дошла до того, что, очутившись на чужом огороде, следила глазами, что можно взять на семена, и, оглядываясь, тайком отламывала лучшую маковую головку или срывала желтый огурец и прятала за пазуху. У нее в хате завелось множество всяких узелков с семенами, больших и малых, и все время что-то сушилось на окнах.

— Куда ты все это денешь? — удивлялся Андрий. — Ведь у нас всего-навсего две грядки.

Она таинственно улыбалась и снисходительно покачивала головой.

— Не печалься... Уж это моя забота — куда.

В воскресенье она ходила в лес, где стояли готовые срубы, осматривала их, выбирала лучший материал, обдумывала и расспрашивала лесников о ценах.

Возвращалась домой задумчивая, с глазами, обращенными куда-то в пространство, гладила Гафийку по голове и порой улыбалась себе самой.

Она как-то даже была на ярмарке, а потом пошли о Маланке разговоры по деревне: наверно, у бабы есть деньги, только таится она с ними, — ведь все шаталась по ярмарке и торговала подсвинка...

Как-то вечером Маланка вышла из хаты и наткнулась на Гафийку, которая стояла, прижавшись к косяку.

— Ты что тут делаешь? — спросила она ее, но, взглянув на Гафийку, Маланка так и обомлела.

— Что с тобой?!

Гафийка не отвечала. Она стояла согнувшись, на ней лица не было, даже почернела и дрожала.

— Что с тобой? — допытывалась Маланка и взяла Гафийкину холодную руку.

Гафийка молчала и тряслась, как в лихорадке. Маланка ввела ее в хату и бросилась зажигать свет. Тусклый свет уронил еще более черные тени на ее бледное лицо; широко раскрытые от страха глаза заблестели, как стеклянные. Маланка совсем перепугалась. Посадила

Гафийку на постель и начала дрожащими руками ощупывать ее лицо и голову.

— Что с тобой? Испугалась? Болит что-нибудь?

Ответа не было. Только под руками у Маланки вздрагивало холодное тело.

Маланка стала звать Андрия. Но Андрий где-то пропал.

Маланка не могла понять, что случилось с Гафийкой. Сглазил кто? Напугал? Продуло? Куда она ходила? Где была? Что ж это, господи, случилось с дивчиной? Хоть бы что сказала, хоть бы слово вымолвила, а то молчит, как мертвая...

Стеклянные глаза и почерневшее, сразу осунувшееся лицо пугали Маланку, и она сама начала трястись над Гафийкой, крестя ее всю мелким крестом.

К счастью, возвратился Андрий. Он был весел или подвыпил, так как говорил громко и взволнованно:

— Ну, так и есть... а я что тогда вам сказал?.. Наехали и взяли...

Маланка зашипела на него:

— Где ты таскаешься?

— Где? На улице! Смотрел, как вели Марку Гушу... Наехали и взяли. Доигрался. Я б такого, пане добродзею, за шею да на веревку... Короткий разговор...

С постели донесся стон.

— Тс-с!..— накинулась на Андрия Маланка.— Видишь, заболела. Беги сейчас же за Марьяной... может, пошепчет, окурит, порчу отведет... Не знаю, что с ней такое. Беги скорей...

Андрий направился к знахарке.

Марьяна, наверно, помогла, потому что через два дня Гафийка поднялась. Худая, желтая, почти черная, словно вдова, печальная и молчаливая. Она все убегала из хаты, чтобы не быть вместе со стариками. Особенно избегала отца, будто боялась его. Наедине плакала. И думала, думала, даже невмоготу ей становилось от дум...

Не все горе, бывала и радость.

После долгого летнего дня, когда солнце садится, а горячая земля медленно снимает с себя золотые ризы, когда на бледном, утомленном за день небе проступают уклад-

кой несмелые звезды, когда в последнем луче солнца справляют игрища мошки, а поразительно мягкий золотисто-розовый воздух принимает вдали сиреневый оттенок и делает просторы еще более широкими, еще более глубокими, — Маланка с Гафийкой плетутся по пыльной дороге, усталые, но довольные тем, что день окончился. Они несут домой горячее, как и земля, тело, а в складках одежды запах спелого колоса. Не разговаривают. Идут молча, помахивают серпами. Спина, наконец разогнутая, свободно опущенная рука, еще слегка дрожащая от длительного напряжения, прикосновение влажной рубашки, холодной от вечерней сырости, мягкая пыль под ногами вместо жнивья — кажутся теперь счастьем. А дома ожидают отдых и сон, короткий, как летняя ночь, но сладостный, как прохладный лист для раны. Скорей бы домой... не ужинать, не сидеть, не разговаривать, а упасть на лавку, как камень в воду, и вмиг смежить глаза.

Сонная, почти бессознательно раскладывает Маланка в печи огонь и кипятит воду, чтобы приготовить Андрию ужин. Огонь пылает и гудит, а она закрывает глаза, покачивается; ей кажется, что это шумит колосом нива и серп шуршит по стеблю. Ой, как душно, как солнце печет. Но нет, ведь это огонь жжет, слишком близко подошла. Вот она сжала сноп и скручивает перевясло... так болит спина, трудно нагнуться. Ага! Это она тесто месит на галушки. Жни, Гафийка, жни... трудно, сердце, зарабатывать, когда жнешь за двенадцатый сноп, а нужно. Что, палец порезала, шипишь от боли.. Ай, нет — это кипяток бежит.

Ест похлебку Андрий... Кажется, говорит что-то... в хате или на дворе...

— Почему не ужинаешь?

— А?

— Ужинать иди...

— Ужинай один... я потом...

Ложки надо бы по... а-а-а... помыть. Ноги такие тяжелые, будто в сапогах... а голова... голова едва на плечах держится...

Ну, наконец-то... На завалинке лучше. Ты спишь, Гафийка? Подушку взяла бы. Ну, спи и так, дитятко, если заснула. Ой, косточки мои, косточки болезные. Ой, мои рученьки, ноженьки... Иже еси на небеси. Хлеб наш насущный. А-а-а!.. звезды смотрят с неба, лягушки зовут спать.

Голубой купол опускается все ниже и ниже... Наваливается на тело, опускает веки... Так сладко, спокойно. Не встал бы и на суд страшный, не поднялся б, если бы счастье позвало... А небо все ниже и ниже... ласкает, обнимает... звезды щекочут, будто целуют. Душа растворилась в синеве, тело липло к завалинке и тает, как воск на огне. Нет ничего... небытие... полное небытие... Разве это не радость?

Сразу же после жатвы стало ясно, что зима будет голодной. Все засуха да засуха. Рожь сгорела, хлеб уродился редкий и слабый. Смех и горе было смотреть на то, сколько заработали Маланка с Гафийкой, а настрелянных Андрием уток и зайцев паны съели. Еще труднее будет заработать в эту зиму, чем в прошлую, а те — мерявшие землю, как ушли, так и след их простыл. Ни слуху ни духу. Андрий тоже молчит что-то о заводе.

По селу шли разговоры о Гудзе. Рассказывали, что он в ярости дубиной убил вола. Ударил по уху и расколол череп. За это пан выгнал его из усадьбы, и теперь Гудзь шляется без работы, пропивает последнюю одежду и хвалится, что и с паном будет, как с волком. Однажды Гудзь забежал и к Андрию.

— Ловишь рыбку, «пане добродзею»? — приветствовал он его с пьяным смехом. — Лови, лови, может ею подавятся те, которые едят ее. Заводчик!.. Думает, для него завод выстроят. Как же, беса пухлого дождешься!.. Совы да вороны там жить будут, пока не завалится все к чертовой матери. Говори — отпускаешь Гафийку? Нет? Хочешь с голоду пропасть, как рыжая мышь зимой? Ну, подыхай, сатана тебя возьми, со всем своим отродьем, мне-то что? Найдем и другую!..

Он рассердился, загремел дверью и вышел из хаты, но через минуту вновь просунулось в дверь красное упрямое лицо.

— Эй вы, заводчики! Помните одно, еще придет коза к возу и скажет «ме»... Но Гудзь покажет дулю, — вот!..

Андрий не выдержал.

— Ах ты, пьянчуга, живодер, что тебе от меня нужно? — бросился он к двери, да Маланка не пустила.

— Оставь! — пронзительно завизжала она и засверкала на него зелеными, полными злорадства глазами. — Не тронь, изувечит. Тогда как на завод пойдешь?

— На завод?

— Ну да...

— На завод, говоришь?

— Слыхал же... выстроят для тебя...

Она цедила слова, будто яд. Андрия душила злоба.

— Зудишь, болячка? Зуди, зуди, пока не почешу. Лучше скажи: засеяла поля свои? Много тебе намерили? Где ж те паны, которым ты руки лизала?

— А где ж? Завод тебе строят...

— Ты опять свое?..

Андрий побил Маланку. Она лежала на лавке и громко стонала, а он бродил по оголенным серым полям, равнодушно, без цели, лишь бы подальше быть от дома.

Гафийка плакала. Она лучше нанялась бы.

К покрову вернулся Прокоп. Шел слух, ему не посчастливилось. Сперва не мог наняться, народу нашло больше чем нужно, и цены упали; потом заболел в Каховке и пролежал месяц, затем направился в Таврию, а оттуда попал на самое Черноморье. Вернулся ободранный, больной и без денег. Маланка не слишком верила этому. Чего только люди не наговорят! И она тайно от своих побежала, словно по делу, к Кандзюбихе. Оказалось — правда. На Прокопе лица нет, даже почернел, от ветра валится да все отлеживается, а старуха Кандзюбиха едва не плачет, рассказывая, что насилу очистила сына от вшей. Где уж ему жениться — думал заработать хоть на свадьбу, а тем временем такой год выпал, что и хлеба не хватает...

Грустная возвратилась домой Маланка и никому не рассказала, что видела и слышала. Пусть это умрет вместе с ней.

Чем ближе было к филипповкам, тем больше Маланка теряла покой. Не давала покоя и Гафийке. Дух аккуратности и порядка овладел ею совершенно, и она возилась по целым дням: дважды побелила хату снаружи и внутри, ежедневно подмазывала печь да подводила красной глиной шесток.

Гафийке пришлось вырезать из бумаги новых казаков и цветы и наклеить их на стены от икон до самых дверей. Крылья голубков, колыхавшихся перед образами на нитке, заменены были новыми, еще более яркими, а для

того чтобы достать обоев с красными розами под образа, пошли все яйца, собранные одно к одному.

— Что ты ходишь черная? — гремела Маланка на Гафийку и заставляла ее едва ли не ежедневно менять рубашку.

Сама чесала ей голову и вплетала в косы новые ленты. По осенним вечерам она рано зажигала свет, прихорашивалась, будто в праздник, и, сидя в своей прибранной хатке, часто поглядывала на дверь, тревожно прислушиваясь к лаю собак, и волновалась, будто кого-то ожидая.

Иногда днем, бросив работу, она выдвигала из угла Гафийкин сундук и рассматривала ее убогую одежду, разворачивала расшитые полотенца и переводила задумчивый взгляд на дочь. Потом поправляла на ней монисто, обдергивала рубашку, укладывала складки юбки и печально покачивала головой, смахнув украдкой слезы.

Но что она не могла равнодушно слышать — так это бубен. Как только с дальнего края села под облачным осенним небом раздавался их глухой звук, она выскакивала во двор, прислушивалась, старалась угадать, в чьем дворе справляют свадьбу, и проявляла столько любопытства, кто кого посватал, словно надеялась сама скоро выйти замуж. Она жила в вечной тревоге, ее движения стали быстрыми, нервными, а небольшие черные глаза беспокойно поблескивали.

А бубны играли. Начиная с середины недели, по улицам ходили невесты с распущенными косами и кланялись в ноги, приглашая на свадьбу, или месил грязь свадебный поезд, наполняя холодный воздух песнями. Маланка в одной рубашке выскакивала на порог, подпирала голову ладонью и жадно следила за свадебной процессией, зябла и не замечала этого. Она несказанно раздражалась.

Каждый посватавшийся парубок, каждая дивчина, подавшая полотенце¹, внезапно теряли в ее глазах цену, не стоили доброго слова.

— Посватался! взял добро! — шипела она с кривой усмешкой. — Будет кормить чужих детей и жинку недо-тепу... Разве никто не знает, что она и хлеба спечь не умеет, ей бы только с хлопцами ржать, будто кобыле.

¹ По народному украинскому обычаю, просватанная девушка подает жениху вышитое полотенце.

— Связалась с этим ледащим... Рябой, гнусавый, да и вор: украл в прошлом году мешок жита с гумна...

Зато, встречаясь с женщинами, у которых были взрослые сыновья, она становилась сладкой и хвасталась дочкой: слава тебе, господи, такая она у нее работящая, такая добрая, послушная, как теленочек...

Время тянулось.

Вечер за вечером просиживали они с Гафийкой в прибранной, как на пасху, хате, в чистой одежде, словно поджидали дорогого гостя, который вот-вот неизвестно откуда придет, застучит сапогами перед хатой, переполошит собак и откроет дверь. У Маланки спрятана была даже в чуланчике среди старого тряпья бутылка водки, о которой, кроме нее, никто не знал.

А вокруг раздавалась музыка, звенели бубны и тревожили ночную тишину пьяные песни. Никто не являлся. Покосившиеся стены халупки, выставив бока, моргали по углам морщинами-теньями, бумажные казаки, подбоченясь, стояли в ряд и молча смотрели на темный свет лампадки, а аккуратные голубки поворачивались перед образами, и длинные тени от их крыльев двигались на низком потолке. Неутихающая тревога, словно дерево из семечка, росла в Маланкиной душе. Неужели не придут? Неужели никто не посвтается? Она перебирала в памяти всех парубков односельчан — и богатых, и средних, и даже бедных, хотя дольше останавливалась на богатых. Соображала, прикидывала и все надеялась. Иногда она думала, что Гафийка сама виновата.

— Эй ты, недотепа! — кричала она на нее, когда Гафийка случайно роняла из рук веретено или задевала что-нибудь по дороге. — Какая из тебя хозяйка выйдет, ты ни ступить, ни сделать ничего как следует не можешь? Наказанье господне, не девка, — сердилась она. — Ты как причесалась? Кто тебя возьмет, такую неряху? Что молчишь? Говорить не умеешь?.. Увидите... Она и счастье свое промолчит... Все не так, как у людей...

Но, заметив слезы на Гафийкиных глазах, она умолкала, жалость наполняла ее сердце и вылетала продолжительным вздохом. Она уже знала, какая судьба ожидает ее дитя. Придется ей идти по материнской дорожке... Ой, придется...

С поникшей, тяжелой от горьких дум головой она прислушивалась к последним звукам замиравшей в деревне свадебной музыки, с которыми гибли и ее последние надежды, последние мечты...

Идут дожди. Холодные осенние туманы клубятся в небе и опускают на землю мокрые косы. Плывет в серую неизвестность тоска, плывет безнадежность, и тихо всхлипывает грусть. Плачут голые деревья, плачут соломенные кровли, умывается слезами нищая земля и не знает, когда улыбнется. Серые дни сменяются черными ночами. Где небо? Где солнце? Мириады мелких капель, как утраченные надежды, вознесшиеся слишком высоко, падают и, смешанные с землей, текут грязными потоками. Нет простора, нет успокоения. Черные думы, горе сердца, носятся тут над головою, висят тучами, катятся туманом, и слышишь рядом тихое рыдание, будто над покойником...

Маленькое серое заплаканное оконце. В него видно обоим — и Андрию и Маланке, — как по грязной разъезженной дороге тянутся люди на заработки. Тянутся и тянутся, черные, понурые, мокрые, несчастные, словно калекки-журавли, отбившиеся от своего клина, словно осенний дождь. Тянутся и исчезают в серой неизвестности...

Темно в хате. Цедят мрак маленькие окна, хмурятся сырые углы, гнетет низкий потолок, и плачет опечаленное сердце. Вместе с этим бесконечным движением, вместе с этим безостановочным паденьем мелких капель движутся и воспоминанья. Как капли эти, — упали и исчезли в грязи дни жизни, молодые силы, молодые надежды. Все растрчено на других, на более сильных, на более счастливых, будто так и нужно.

Будто так и нужно...

А дождь идет... Горбатыми тенями в сумерках хаты сидят старики, словно решают заданную Гудзем задачу: придет ли коза к возу?

А может, придет...

12 января 1903 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Снега выпали глубокие, и Андрий радостно разгребают от порога к воротам дорожку. Это все ж работа, да и неплохо человеку вечно торчать дома, где сверкает пустым оком голод и нужда толчется по сырым углам. Ведь это, пане добродзею, настают последние времена: и рад бы заработать, да негде. Не знаешь, как перебиться зиму. Маланка — черная, высохла вся, кожа да кости, только взглядом жжет да колет, да кашляет в хате так, что стекла дребезжат. Память о свадьбе осталась у Маласи. А как же... Как женился паныч Леля — тот, с соседней экономии, — на нашего помещика дочке, старуха словно с ума спятила: чем встречу, как будут от венца ехать, — ячменным хлебом? Она у них служила, у нее на глазах и паныч вырос... бегала по селу, вымокла, продрогла, пока не выпросила у кого-то паляницу. Верно, у кузнечихи. Правда, дал паныч Леля два злота, да один бабке Марьяне отдала: ведь как пошло у нее в груди колоть, едва душа с телом не рассталась. А теперь получай, кашляй, сердце... панскую ласку вспоминай.

Андрий разогнулся и воткнул лопату в снег. Он разогрелся, от него валил пар, словно дым из трубы, его усы и брови побелели.

Село было наполовину засыпано снегом; низкие хаты осели под синим куполом неба, будто бабы в намитках опустились на колени в церкви; за деревней глаз мягко бежал по снежным полям до самого горизонта и не знал, на чем остановиться.

Андрий взялся за лопату и вновь поймал оборвавшуюся мысль. Ведь он так полагает: от судьбы не уйдешь... Старуха говорит, что знала, а он не надеялся даже. Где там! Чтобы сын хозяйский да взял бедную? Чтобы Проккоп посватал Гафийку? Ну что ж, все-таки посватал. Рождество из хаты, а сваты в хату, да ничего из того не вышло. Уперлась девка, ни с места. Ему ничего, а Маланке горе большое. И во сне и наяву видела дочку за хозяйским сыном, поле пахала, сажала огород... Ха-ха! Оближи губки, Малася. Девка не хочет. А не Марко ли в голове у нее? Может, уже и косточки его сгнили, может помер где-нибудь в тюрьме. Была девка — огурчик, а стала, как мо-

нашка. Похудела, молчит и на отца сердится. А он чем виноват? Разве он посадил Гушу в тюрьму? Ведь то, что он, пане добродзею, бунтарь, это правда: знали, что с ним сделать...

Хе, вот уже и устал. Совсем ослаб за зиму, харчи подвели. Еще летом ничего: свеколка, луковка, рыбки наловишь...

Ну, Прокоп не мог ждать. Другую посватал. А как же... Маланка даже плакала от злос...

— Га! Заводчик! Ишь как старается, чтоб жинка ножек не промочила. Болячка б... Здорово!

— Фу!.. Чтоб вам, Хома, как напугали... Здравствуйте... Я, знаете, теперь такой пугливый, и тени своей боюсь...

— Разве в тебе душа есть? Один заячий дух...

Хома, видно, насмехается. В морщинах старого безусого лица глубоко залегла злость.

Андрей привык уже к этому. Он знает, что с тех пор, как пан прогнал Гудзя, нужда еще больше обрушилась на него, но говорит:

— Хорошо вам, Хома, вы один, а у меня три глотки в доме.

— Ха-ха... Мне? Хорошо! Пусть ему так легко подыхать, как мне жить... Угощай пивом, скажу новость.

— Где там! Я уже забыл, какое оно на вкус... Про завод? Э, не раз уже говорили...

— Не веришь? Паныч Леля ставит водочный завод.

— Да ну?

— Не ну, а в самом деле! Из старого сахарного делают водочный, еще и дом себе отстроит Леля, чтоб он лопнул тебе на радость.

— Да что вы говорите? Откуда вы знаете?

— Не верит, чертово зелье... Бросай лопату, идем.

— Куда?

— Не спрашивай, идем.

Андрей вертел лопату в руках и недоверчиво глядел на Гудзя. Наконец, воткнул лопату в снег и очутился за воротами.

— Чего лопату бросил, еще кто-нибудь стащит, ты! — услышал он голос Маланки, но даже не оглянулся.

Брел по снегу, спешил за Хомой. Хома ставил ноги решительно, злобно, как говорил, а снег разбрасывал,

точно лошадь. Андрий громко дышал, его глаза забегали куда-то вперед, навстречу каменным стенам, казалось, уже трепетавшим от живого движения рабочих, уже дышавшим трубами.

«На этот раз Хома не обманывает», — колотилось сердце Андрия.

Шли по безлюдному селу, занесенному снегом, как по глухому лесу, который хотелось поскорей пройти, чтобы увидеть простор.

Когда же, наконец, на холмике перед ними зачернели развалины сахарного завода, Андрий тут же совершенно отчетливо увидел дым, услышал знакомый шум. Правда, дым сразу исчез, но возле сахарного завода суетились люди и чернели подводы.

— Куда бежишь? Поспеешь...

Андрий только махнул рукой. Э, что там теперь Хома... Он уже видел сани с бревнами, с брусьями, лубяные короба, полные красного кирпича, словно миски с ягодами, косматых лошадей, окутанных собственным паром, согнутые спины, занесенные кнуты... Но... Эй!.. Цоб-цоб!..

На дворе стоял приказчик и среди крика и шума принимал материал.

Андрий бегал от саней к саням, ощупывал лес, постукивал по кирпичу, заглядывал всем в глаза, словно спрашивал — правда ли? Перед приказчиком снял шапку и долго молча стоял.

Подошел к Хоме и улыбнулся.

— Будет?

— Будет...

— Винокурный?

— Да я же сказал.

Выцветшие зеленоватые глаза Андрия блестели, как лед, таявший на солнце. Они ласкали черные, задымленные стены сахарного завода, круглые желтые бревна на белом снегу, улыбались штабелям кирпича, приказчиковой бороде, седой от мороза. Теперь, пане добродзею, уже пустят пар... Не будет человек с голоду гибнуть, а как же... придет срок — бери готовые деньги. Да, да, Малася, вот тебе и «заводчик»!..

— Что, Хома будет завод? Смотри, смотри...

Но на Андрия шипели из глаз Хомы зеленые змейки.

— Чего радуешься? Думаешь, они водку гнать станут? Кровь из тебя гнать станут, а не водку. Хлеба захотел? А горба не заработаешь? Гляди! У кого брюхо отрастет выше носа, а из тебя жилы все вытянут, пропади оно прахом...

— Подождите, Хома...

— Чтоб им спореть да развеяться пеплом вместе с человеческой неправдой.

— Подождите же, Хома...

— Чего ждать? Он думает — водочный завод. Гроб тебе готовят, четыре доски да яму. Вот и все.

— А, какой же вы, Хома...

Но Гудзя нельзя было уже остановить. Он катился, как с горы.

— Вот взял бы — р-раз, р-раз, развалил бы все к чертовой матери, сровнял бы с землей, чтоб и памяти не осталось на веки вечные.

Хома размахивал руками и топал ногой. Каждая морщинка на его безусом лице вздрагивала, и видно было, как под старой свиткой корчилося тело, будто пружина.

Андрей со страхом смотрел на Гудзя. Он даже язык проглотил.

Что это с Хомой? И что он говорит? Надо ж чем-нибудь жить... Разве лучше вот тем, которые роются на клочке поля и не соберут, случается, даже семена. Или тому, кто закопает силу в панские поля, а придет болезнь и старость, станет калекой — сдохнет, как собака под забором? И что он говорит, господи боже!

Но Хома понемногу отходил. Злость и проклятия внезапно перешли в хриплый, простуженный смех.

— Ха-ха! Ну, угощаешь пивом? С тебя магарыч. Айда к Менделю.

Андрей улыбнулся виновато. Почему бы не угостить? Как охотно он сам выпил бы на радостях пива, да...

— Верите, Хома...

— Ну, ну... в кармане пусто? Черт с тобой... тоже «заводчик». Я иду...

Андрей смотрел вслед Хоме, но, прежде чем исчезла согбенная фигура, уже затихло шипение зеленых змеек, погасли обжигающие слова, и одно только звенело в Андреевой груди — винокурный завод!

Он хотел еще раз услышать это слово. Стоял перед приказчиком и мял шапку в руках.

— Водочный будет?

— Водочный.

Вот. Теперь уже наверно. Он почувствовал гордость, самоуважение, точно не паныч Леля, а сам он оживит мертвые стены сахарного завода, пустит в ход колеса, приводные ремни машины и людскую силу.

Деревня, хлебопашцы, земля...

Какие они бедные, несчастные...

Кроты! Залезли на зиму в белые норы, и придет весна, начнут мучить землю, резать ей грудь. Прокорми, земля! А земля стонет, тощая, слабосильная, разорванная на клочки. И не кормит, кровью своей поит. Не хлеб, а куколь родит, репей, всякую сорную траву. Вот и кормись...

А тем временем число голодных растет, множится, корчатся голодные, как змея, изрубленная на куски.

Развелось вас. Хоть бы милосердный господь сократил вас войной или мором каким. Может, легче было б на свете...

Ну, а ему что? У него нет земли! Водочный завод даст ему хлеб... Хома говорит глупости.

И ты, Малася, напрасно смеялась. Сказал Андрий Вольк — будет винокурный завод,— и будет...

Гафийка вошла в хату и приложила к печи озябшие руки.

— Забыла, что печь холодная,— виновато усмехнулась она.

Маланка обратила к ней красные глаза:

— С кем разговаривала в сенях?

— Прокоп приходил.

Прокоп! С того времени, как он женился, Маланка не могла слышать его имени.

— Что ему нужно?

— Ко мне приходил.

— К тебе? Зачем?

— Книжки приносил.

— Пускай носит жене своей, а не тебе...

Ей хотелось убить дочку взглядом, но не удалось. На-

вернулась слеза, обожгла, пришлось кулаками закрыть глаза.

Теперь Маланкины глаза уже сами плачут. За осень и зиму так наплакалась, что даже привыкла. Настали холод, слякоть и непогода не только в природе, а и в сердце. Облетели надежды, разметались бесследно, и там теперь голо, как в лесу. Снега теперь в сердце и волки воют. Господь не захотел показать свою правду: как была панской земля, так и осталась панской. Напрасно Маланка собирала семена, напрасно лелеяла надежды. Узелки с зерном так долго висели под образами в хате, что всем глаза намозолили. Наконец, сняла и вынесла в чулан. Довольно себя обманывать. «Зачем снимаешь? Настанет весна — поля засеешь», — это Андрий задел, как за живое.

Сухие Маланкины губы сжались от боли при одном напоминании.

Их трое — а всем суждено одно. Холод, и голод, и безнадёжность. Целыми днями сидели в нетопленной хате и ничего не варили. Сверкали ненавидящим взглядом, грызлись кровавыми словами. Как звери. Чтобы не замерзнуть, Андрий украдкой по ночам рубил на дороге вербы или разбирали крыши на соседних пустых строениях. Если бы не совесть — крал бы. Потом стало колоть в груди, привязался кашель. Все внутренности выворачивало, по ночам никто спать не мог. Вокруг пусто, грустно, Гафийка ходит словно монашенка. Молчит, ничего не говорит. Разве Маланка и так не знает?

— Вишь книжки носит... Пошла бы за него, читали бы вместе.

— Оставьте, мама.

— Кого ждешь? Гущу? Вот беда. Отец немного зарабатывает, я больная, почернела от работы — да что из того? А Прокоп...

Ах, как это скучно, как скучно все одно слушать!

— Вы не печальтесь, мама. Я пойду внаймы.

Маланка прикусила язык.

— В усадьбу наймусь. Или к Пидпаре, он, говорят, ищет работницу.

Маланкины глаза стали испуганными, круглыми. Что-то промелькнуло на мгновение перед ними, давнее, полузабытое.

Она подняла руки, будто хотела отогнать что-то.

— Молчи уж лучше.

— Ей-богу...

Тогда Маланка вдруг размякла. Что там печалиться, все идет к лучшему. Вот переживут зиму, весна не за горами, Андрий, наверно, найметя к пану, начнут люди огороды копать, пойдут заработки.

Голос Маланки становился теплее, словно его согрело солнце, тихо садившееся перед самой хатой. Золотой горизонт обратил окно в алтарь, печка краснела от жара, будто в ней пылал огонь, речь струилась ласково, как последние лучи, и гасла медленно в вечерних тенях. До Гафийки только иногда долетали отдельные слова. Этот ласковый голос будил в ней воспоминания, навевал думы.

«Если бы знала — куда, пошла бы пешком к нему. Не думал бы, что отреклась от него. Сказала бы: я не забыла, Марко, твоей науки, ты бросил слово, а из него уродилось десять... Тебя заперли за решетку, а твое слово ходит по свету...»

— ...настанет жатва, будем жать, заработаем хлеба, а осенью...

«Кто любит верно, тот хотел бы словом милого весь свет засеять... Издеваются над тобой, а я разве мало приняла муки? Гляди, какая стала. Каждый день о тебе печалюсь, каждый день мысль к тебе летит...»

— ...еще посватается кто-нибудь... еще твоя доля за дверью у бога...

«Жду тебя, поджидаю. Не буду твоей — ничьей не стану. Одно у меня утешение, что разговариваю с тобой, хоть ты и не слышишь...»

Окно медленно гасло. Земля поужинала солнцем и готовилась к ночи. Синие тени раскрывали свою глубину, принимали, как на мягкое ложе, Гафийкины мысли, надежды Маланки.

Маланка не хотела верить. Э, опять наплел Гудзь. Андрий даже менялся в лице, так сердился. Гудзь, Гудзь... Он видел собственными глазами. Не один Хома, — приказчик сказал. Усы еще белее стали на красном лице, и глаза лезли на лоб. Маланка пожимала плечами, но накинула кожушок и побежала в усадьбу. Теперь это уже ее дело. Паныч Леля должен нанять Андрия, она ж у них служила,

она работала на них. Маланка долго кашляла на кухне, пока, наконец, не вышел паныч. Ну, паныч как паныч, пошутил немного со старухой, но Андрия нанял. Приказчику в помощь.

Это была большая радость. Теперь уже ежедневно пылал в печке веселый огонь, вкусно пахло борщом или галушками, и когда Андрий в сумерках возвращался домой и вносил с улицы морозную свежесть, которой пахли все складки его одежды, Маланка старалась угодить ему, и степенность хозяйки была во всех ее движениях. После ужина Андрий придвигался к печи и доставал трубку. Красный жар подмигивал ему синеватым глазом, моргал, стрелял звездами и, наконец, закутывался на ночь в шубу серого пепла. Гафийка гремела ложками, плескалась теплой водой, а Маланка, сложив руки на груди, благоговеино слушала рассказ о том, сколько привезено кирпичу, какой и почему забракован лес, что приказчик ничего не понимает и, если бы не Андрий, дело не пошло бы.

С наступлением весны, когда начались настоящие работы, разговоры стали разнообразнее и длиннее. Андрий был как в лихорадке. Ему казалось, что все идет слишком медленно, что стройке конца не будет. Это была его винокурня, это он ставил ее, и даже Маланка, заразившись его настроением, часто бегала смотреть, как подвигалась работа. Она даже забывала свои мечты о земле и жила с Андрием одной жизнью.

Наконец, однажды, так после троицы, высокая заводская труба дохнула клубами дыма и из бывших развалин сахарного завода донесся до деревни гудок.

Андрий сорвался с места. Он наклонился вперед, вытянул шею и ловил ухом этот зов «машины», долго, торжественно, словно боялся пропустить хотя бы одну ноту.

Потом обернулся к жене, весь сияющий; лоб его сразу вспотел.

— Слышишь, Маланка?

Маланка слышала.

— Это тебе не земля, которую еще когда-то будут делить... Это тебе, пане добродзею, не шутка, а завод...

Маланка вздохнула. Она взглянула на свои черные, сухие руки, просившие другой работы, и почувствовала, как ее мечты упали куда-то глубоко, на самое дно сердца.

В тот же вечер Андрий пошел на ночную смену.

Хотя с мясоеда, когда женился Прокоп, немного времени прошло, но Гафийке казалось, что Прокоп вырос и даже постарел. Он стоял перед нею и говорил, а она глядела на его широкие плечи, спокойное лицо, на котором неожиданно как-то выросла борода и запечатлелась степенность женатого. Ей казалось, что его серые, немного холодные глаза смотрели не только на нее, сколько куда-то внутрь, в себя, и потому все, что он говорил, было крепко и полновесно, как доброе зерно. Она тоже слыхала, что богатеи сердиты на него.

— Больше всех злится на меня Пидпара. В воскресенье кричал на сходе: «Таких, как Кандзюба, в Сибирь. Завел газеты, книжки голытьбе читает, бунтует народ. Бумажки разбрасывает». А сам, как встретит, сейчас же спрашивает: «Что там слыхать? Что про войну нового пишут?» Мать тоже попрекает: «Жжет свет, а он дорог».

— Ну, а Мария?

Прокоп взглянул на нее испытующим взглядом. Гафийка стояла крепкая, обожженная солнцем, с тонким пушком на руках и ногах, как золотая пчелка. Опустила глаза и старательно ловила двумя пальцами ноги какой-то стебель.

— Мария? Что ж, молодлица как молодлица... Ей лишь бы люди, лишь бы разговоры слушать да свое вставить. Не так сложилось, как думал. Мне бы товарища надо, да ты не захотела.

Стебель не давался, выскальзывал.

— Оставь, Прокоп, довольно.

— Да я ничего. Не кличешь тоски, сама приходит. Все ждешь Гущу?

Гафийка подняла на Прокопа глаза.

— Этой ночью Марко мне снился.

— Ага! Я и забыл. Дядя Панас встретил меня утром: «Приду к вам, говорит, послушать, что там умные люди советуют...»

— Снится мне, только я будто кончила разносить листки и уже последний вынимаю, чтобы засунуть Петру в сарай, кто-то меня хват за руку. Я так и похолодела вся. Смотрю — Марко. Такой сердитый. «Я, говорит, сiju за вас в тюрьме, а ты так слова мои сеешь? Покажи руки». А мне стыдно — страх, что руки пустые, глаза поднять не смею, не смею показать ему руки. И хочется похвастать —

и голос меня не слушается... Слышишь, Прокоп, когда новых дашь? У меня больше нет.

— Нет и у меня. Пойду на неделе в город, так принесу. А ты заходи.

Прокоп обнимал взором Гафийку. Упругая, сильная, чистая, она сияла на солнце, как добрая пашня, как полный колос, а глаза у нее были глубокие и темные, как колодец.

Эти глаза его очаровывали. Прокоп вздохнул.

Но, вздыхай не вздыхай — иначе не будет.

Он хотел по крайней мере словом облегчить душу, подобно тому, как туча жаждет пролиться дождем, и говорил, что своя неудача — пустое. Мирское горе велико. Он нагляделся на него. И дома и всюду. Везде бедные внизу, богатые наверху. В долине слезы, на вершинах издевательство. Люди в пыли, как спорыш придорожный, затоптаны сильным, богатым. И некому крикнуть: подымись, народ, протяни руку за своей правдой. Сам не возьмешь — никто не даст. Не народился еще, видно, тот, кого услышат. Надо иметь сильный голос, а что можем мы? И где наш голос? Только шепотом скажешь: вставай, Иван, умой лицо. Поднимись, Петр, нас больше будет. Хотя бы удалось это сделать — нескольких разбудить, а те уж других. Запеклась неправда в каждом сердце — прикоснись к болячке, и заноеет.

Что-то было тихое, покорное в этих жалобах, точно река грустно звенела по мелким камешкам.

Нет, Марко не такой. Он, как бурный поток, вырывал бы камень, рыл берега, с корнем выворачивал деревья. Его слушали бы все.

Теперь для Маланки настали лучшие времена. Андрий работал и хотя не весь заработок приносил домой, но все же голодными они не сидели. С Андрием она редко и виделась: он ходил в ночную смену, а днем спал или бродил где-нибудь с Хомою вдвоем. Маланка с Гафийкой тоже зарабатывали, и дни их проходили на чужой ниве. Но Маланка не знала покоя. Слухи о земле ожили с весной, будто взошли вместе с озимью и с ней разрастались. Что ж из того, что, выбросив узелки с семенами, она отказалась от своих старых надежд; они теперь снова просились к ней

в сердце. Из уст в уста, от хаты в хату, из деревни в деревню катилась радость: будут землю делить. Кто сказал первый, кто последний — никто не спрашивал. Слухи ползли, как облака, сами собой, носились в воздухе, как пыльца с цветущих хлебов.

- Слыхали? Будут землю делить.
- Наделят людей. Кончатся беды.
- Земля уже наша. Скоро начнут делить.
- Даже паны говорят: отдадим землю.
- Паны? Не верьте.
- А как же!
- Известно, боятся.

У Маланки глаза блестели.

А тут еще — сама земля зовет ее.

Поет Маланке колос, смеется луг утренними росами, звоном косы, зовут огороды синей сочной ботвой, тучная земля дышит на нее теплом, как некогда материнская грудь.

А на ее зов отвечает Маланкино сердце, откликаются руки, сухие и черные, отдавшие силу земле и получившие от нее свою силу.

Иногда среди работы она останавливалась и оглядывала землю. Катились низом нивы, стелились по холмам, полные, свежие, богатые, но все чужие. Сколько глазом окинешь — конца-краю нет. А все чужие. И даже не крестьянские, а господские. Зачем пану? Куда все денет?

Сердцу было больно смотреть на нивы, а поле потихоньку шептало и утешало:

«Не печалься... поделят... поделят...»

Думы о земле будили Маланку по ночам.

Она просыпалась вся потная, в тревоге. Ей вдруг начало казаться, что это невозможно. Не отдаст своего добра богач мужику никогда, никогда. У богача деньги, у него сила, а что у мужика? Четыре конечности — руки да ноги. Ничего из этого не выйдет; все будет, как было; до самой смерти будет бедняк на чужом тратить свои силы, до самой могилы не увидит Маланка лучшей доли, а Гафийкина красота и молодость увянут внаймах, почернеет Гафийка, завянет на чужой работе, как ее мать. Только и земли твоей будет, что лопатой бросят на грудь.

Холодным потом обливалась Маланка, вся замирала и напряженно всматривалась в ночную тьму, словно спра-

шивала: что же будет? Но ночь темна, слепа, глуха: она умеет только молчать. А вместе с тем на дне души, втайне от холодной мысли шевелилась другая, теплая, маленькая и добрая. Она что-то шептала Маланке и вела за собой в поле.

Волнуется на солнце нива — эта божья постель, лен цветет синим — сказал бы, небо загляделось в озерцо; на сенокосе телега, Гафийка кормит ребенка, а другой рядом с Маланкой: «Бабушка!..» И все это — богатая нива, телега, лошади, семья — все это свое, родное, от сердца не оторвешь. «Что ж это я надела сегодня сапожки красные, как в праздник... видишь, цветут в поле, словно мак...»

Утром Маланка, кого встречала, спрашивала:

— Не знаете, будут землю делить?

Кузнечиху — и ту остановила:

— Слыхали, сердце, скоро землю нам должны давать?

— А как же, Малася, слыхала... А как же. Только у людей и разговора, одним только живут, одним и дышат. Мой еще зимою купил у пана десятину, задаток дал, а больше не хочет платить. Зачем, говорит, выбрасывать деньги, если все равно земля будет моя. Пусть пропадет задаток. А мне жалко и задатка. Вот еще! За свое да платить. И копейки не дам. Пристаю к своему, чтобы отобрал, а он не хочет. Что с воза упало, то, говорит, пропало. Будут, будут делить. На вашу долю больше придется — вы безземельные. Только б справедливо делили, чтоб люди не дрались меж собой...

— Ой, дал бы милостивый... А люди, известно, божьи собаки — грызутся. Спасибо вам, сердце, на добром слове. Пусть вам господь помогает на всех путях ваших...

Маланкино сердце таяло, как воск. Ей даже странным казалось, что с кузнечихою они так часто ссорятся.

Мария всплеснула руками.

— Глядите, и дядя Панас пришли послушать!

— Разве нельзя? Разве тут что плохое говорят?

Приземистая, корявая фигура остановилась на пороге, переставила длинную палку с неободранной корой в хату и, опершись на нее, шурилась. Казалось, пень вытащил из земли свои корни и приковылял к людям — крепкий, би-

тый непогодой, пропахший землей, на которой рос. Старая Қандзюбиха приглашала брата:

— Заходи, заходи в хату.

Все повернулись к Панасу, а чужой вдруг замолчал, положил руки на стол и заморгал.

Панас все еще присматривался.

— Что-то у вас свет плохо горит, сразу не разберу, кто тут есть.

Но он уже всех разглядел. Рядом с Гафийкой сидел Олекса Безик, которого в деревне называли «Полтора Несчастья». У него было столько детей, как маковых росенок, и ни клочка земли. В углу подпирал стены высокий Семен Мажуга, с впалой грудью и долгорукий, весь как складной нож. Он только и жил тем, что на колченогой кобыле возил евреев на вокзал. Были тут Иван Короткий да Иван Редька, Александр Дейнека да Савва Гурчин — все безземельные либо такие, которые не могли прокормиться на своей земле.

Тогда Панас переставил через порог сапожищи, в которых, наверно, больше места занимали портянки, чем ноги, и устроился рядом с Марией.

— А кто ж тот чернявый, за столом?

— Из Ямищ,— объяснила Мария и с любопытством посмотрела на чужого.

— Рассказывайте дальше,— попросила она.

Тот перестал моргать. И все повернулись к нему.

— Ну, значит, собрались мы к сборне, староста с нами, так и так, пишите приговор. Мы, ямищане, согласились на том, что никто из нас не будет работать у пана по старой цене. Теперь пеший работник — рубль, а конный — два. Рабочий день должен быть короче на четверть...

— Ого!

— Тише! пусть говорит...

— Жать за шестой, а не десятый сноп, молотить за восьмую, а не тринадцатую меру...

Вот это хорошо! Головы по углам закивали, а долгорукий Мажуга в знак полного согласия складывался и раскрывался, как перочинный нож.

— А если пан не согласится?

Старая Қандзюбиха протиснулась сквозь толпу и осторожно убавила в лампе огонь.

— А правда, что будет, коли пан не согласится?

Человек из Ямищ помолчал минутку, взглянул вокруг и отрубил:

— А не согласится — забастовка.

Мария всплеснула руками.

— Заба-стов-ка! Господи милосердный!

Панас Кандзюба качнулся, словно верба на ветру.

— Забастовка? Как это так?

— А так. Пан зовет косить — хорошо, рубль в день. Не хочешь — коси себе сам. Никто на работу не выйдет. Настали жнива — давай нашу цену; не согласен — надевай сам постолы и айда с серпом в поле.

— Ха-ха! Вот ловко!

Смех прокатился по хате из угла в угол. Целые ряды колыхались от него. Люди ложились от смеха, как трава под косой. Пан в постолах! Ха-ха!

Полтора Несчастья даже взопрел, представя себе это: его потная лысина ловила и отражала свет лампы. Пан в постолах!..

Перед глазами Панаса неотступно стояла смешная фигура толстого пана в постолах, одна среди поля, неловкая и беспомощная. И не легкое веселье играло в Панасовом сердце, а давняя мужичья ненависть, которая, наконец, нашла свое слово.

Обуть пана в постолы!

В этом слове заключалась целая картина, роскошный план, справедливость человеческая и небесная.

Обуть пана в постолы!..

Но как это сделать?

Да, как это сделать? Пан не дурак. Свои не захотят, чужих позовет. Панское всегда берет верх.

При одной мысли, что чужие могли бы помешать, пошли бы против общества, загорелись глаза.

Заговорили все разом.

Мажуга поднял руку, будто оглоблю.

— Чужих не пускать! Разогнать! Кольями!

Ого-го! Такой не пустит.

Мария всплеснула руками.

— А что им, если не послушаются — бить.

— Ведь уже некуда дальше, все одно погибать. Хоть в могилу, хуже не станет. Народ изголодался, а никто не позаботится, есть никто не даст. Ни за что не даст!.. Хочешь есть — пей воду... Отведал беды, так напейся воды... Один

роскошествует, а другой... Беда прежде роскоши родилась. Обуть пана в постолы...

Однако понемногу фантазия Панаса увядала, будто червь точил ее. Где там! Разве так легко спорить с паном!

Пан уже не хотел надевать постолы, не хотел сам жать. Он снова был сильным и хитрым врагом, с которым трудно было бороться, который всех победит. Лучше подалее от пана и от греха. Разве ему, Панасу, земский не выбил зуб?

Панаса никто не слушал.

Тогда он застучал палкой.

Что ему нужно?

Нет, пана не запугаешь. У него сила. Нагонит тебе полное село, и у кого сзади было гладенько, узорами украсит. Теперь кричат, а тогда что? В стае и беззубая собака зла. Захотели голыми руками ежа убить. Не убьешь, уколёт.

Старая хозяйка снова убавила огня. Когда там что будет, а керосин дорогой.

Иван Короткий хотел знать, все ли подписались.

Человек из Ямищ не мог ничего сказать из-за крика.

— Тише, тише, пускай говорит...

Известно, не все подписались. Богатеи отказались.

— Чего захотели! Один черт, что пан, что богатый мужик.

Все ж к ним присоединились деревни Пески, Береза, Веселый бор.

Вот! Слышите? слышите, сколько присоединилось... Теперь наша очередь. Постоим за них, они за нас постоят. Подписать! Подписать!

В хате становилось душно. Дым стлался по хате, как низкие облака, и синие волны, смешанные с криком, тянулись к раскрытым окнам.

Разве кто заставляет работать у пана? Не хочешь, не иди. Пусть увидит, что не в богатстве сила, а в черных руках. Надо всем присоединиться. Всем.

Панас Кандзюба шел против общества.

Он не согласен. Это будет бунт.

— Тю! Какой бунт?

— Такой бунт. За это не похвалят. Лучше ждать прирезки.

— Жди, дождешься.

— Скоро будут землю делить.

Мария всплеснула руками.

Разве она не говорила!

На Панаса насели. Кто будет делить? Может, паны?

Однако Панас крепко стоял на своем. Твердый и серый, как гряда земли, в тяжелых сапожищах, он знал одно:

— Будут землю делить.

— Да хорошо, хорошо, а покамест...

— Это будет бунт.

Еще там загнать лошадей к пану на поле, увезти тайком бревно из лесу, поставить верши на панском пруду — одно, а бунтовать против пана всем селом, на это нет согласия. Достаточно и одного зуба, выбитого земским.

— Вот видишь... вот!

Раскрыл рот и тыкал пальцем, грубым и негнушимся, как обрубок с корою, в черную дырку на бледных деснах.

— Видите!.. Вот!

Так Панаса и оставили.

Гром все грохочет, рыжая туча левым крылом обнимает небо. Всюду от капель пузыри на воде, а по оврагам текут потоки и подмывают сено. Погибло сено! Маланка подоткнула подол и лезет в воду, и как раз тогда Гафийка говорит:

— Мама, кто-то стучит в окно.

В окно? какое там окно?

— Верно, стучат.

Маланка слезает с лавки, нащупывает стены, а в окно кто-то барабанит.

— Кто там? Кто стучит?

Маланка открывает окно.

— Идите на завод. Несчастье. Андрию руку попортило.

— Несчастье! — повторяет за ним Маланка.

— Сильно попортило?

— Не знаю. Кто говорит — оторвало руку, а кто — пальцы.

— Боже мой, боже...

Маланка мечется в темноте, как мышь в западне, а что хотела сделать — не помнит. Наконец, Гафийка подает ей юбку.

Вот тебе и гром!

Какая бесконечно длинная деревня. Там, на винокуренном, несчастье, Андрий умер, может он лежит, длинный и недвижимый, а тут эти хаты, сонные и тихие, одну минуешь, другая встает, и нет им конца. За тыном тын, за воротами ворота... Слышно, как скот в хлевах тяжело сопит да Гафийка неровно дышит рядом с Маланкой. А завод еще далеко.

Только теперь замечает Маланка, что за ней бежит хлопец с завода.

— Ты видел Андрия?

Кто-то чужой спросил, а хлопец сейчас же говорит.

Нет, он не видел, его послали.

Рассказывает что-то нудно и долго, но Маланка не слушает.

Вот уже дохнуло ночной сыростью с пруда, и вдруг, за поворотом, ряд освещенных окон резнул сердце. Завод выбрасывает клубы дыма и весь дрожит, яркий, большой, живой среди мертвой ночи.

Во дворе группа людей, среди нее свет. Андрий помер. Она кричит и всех расталкивает.

— Молчи, старуха!..

Сердитый голос ее останавливает, она внезапно замолкает и лишь покорно, как побитая собака, переводит взгляд с одного на другого.

Ей объясняют:

— Он, видите, был в аппаратной..

— У машины, значит...

— У машины,— говорит Маланка.

— Держал масленку, а шестерня вдруг и того... и повернулась...

— И повернулась,— говорит Маланка.

— Он тогда правой хват, чтоб удержать масленку, а ему четыре пальца так и отхватило.

— По самую ладонь.

— Жив? — спрашивает Маланка.

— Жив... там фершал.

На землю ложится свет, а что там делают, как Андрий,— Маланка не знает. Только теперь услышала, что стонет. Значит, жив.

Наконец, тот же сердитый голос кричит:

— Тут жена? Ну, старуха, иди...

Рабочие дают ей дорогу. Она видит что-то белое, вроде подушки, и, только подойдя ближе, замечает желтое, как воск, лицо, какое-то ссохшееся, маленькое, темное, перекошенный рот.

— Андрийко, что ты наделал?

Молчит и стонет.

— Что с тобой, Андрий?

— Откуда мне знать... Калекой стал... Собери мои пальцы.

— Что ты говоришь, Андрийко?

— Собери мои пальцы, закопай... Я ими хлеб зарабатывал. Ой... боже мой, боже...

Подошли двое рабочих и увели Андрия. Не дали Маланке поголосить.

В аппаратной Маланка искала Андриевы пальцы. Три желтых в масле обрубка валялись на полу, у машины, четвертого так и не нашла. Она завернула их в платок и захватила с собой.

Утром Андрия отвезли в больницу, в город, а Маланку позвал сам паныч Леля. Он долго сердился, кричал на нее, как на Андрия, но, спасибо, дал пять рублей.

Через три недели Андрий вернулся. Худой, желтый, поседел, рука на перевязи.

— Болят у меня пальцы,— жаловался Маланке.

— Да где те пальцы?

— Как пошевелю ими,— а пошевелить хочется,— так и болят. Ты их закопала?

— Как же. В огороде. Что будем делать? — жаловалась Маланка.

— Как что? Пойду на завод, пусть поставят на другую работу.

Но в конторе сказали, что калек не принимают. К панычу Леле и не пустили.

— Хорошее дело! — кричал Андрий. — Работал, пане добродзею, на сахарном двенадцать лет,— не чужой он был, твоего же тестя; теперь у тебя руку при машине испортил, а ты меня выбрасываешь, как хлам.

Потом ходила Маланка. Просила, умоляла — не помогло. И так, говорит, большие расходы: за больницу платили, пять рублей дали, а сколько возни было...

— Вот тебе, Андрийко, и винокуренный завод,— шипела Маланка, отводя душу.

— Мама... что я вам скажу...

— А что, Гафийка?..

Гафийка в нерешительности молчала.

— Да говори уж, говори...

— Пойду я в работницы.

Маланка подняла руки. Она опять свое! Все ее сердят, раздражают, хоть помирай.

— Вы не печальтесь, мама. Так было бы лучше. Тато уже не смогут зарабатывать, куда им! А придет зима...

— Молчи! Что ты пристала! Я уже и так похожа на тень.

Гафийка замолкла. Ей было досадно. Мать плачет, а кто знает почему?

Долго Маланка сморкалась и вытирала слезы.

Гафийка подумала вслух:

— Как раз Пидпара ищет девуку.

Маланка упорно молчала.

Так ничего и не вышло, как всегда.

А Андрий злился. Голос его стал еще более визгливым, бабьим. Когда он сердился, краска заливала ему лицо, отчего усы становились совершенно белыми.

— Богачи! заводчики! сделали из меня калеку, а тогда и прогнали. Отняли силу, выпили кровь, и я стал им не нужен.

Каждому встречному Андрий совал искалеченную руку.

— Вот посмотрите, что со мной сделали. Двенадцать лет выматывали жилы, двенадцать лет их кормил... Разве такая должна быть правда на свете? Так тебе перетак...

Андрий у Хомя перенял брань.

Он говорил:

— Это им даром не пройдет, чужая обида вылезет боком.

Разговор этот дошел до пана, и он перестал посылать Андрия на почту. Теперь на почту ходил уже другой.

«Что ты сделаешь ему, толстому? — думал Андрий.— У кого сила, у того и правда. Мы как скот у пана. Да где там! Он скотину пожалеет скорей, ведь за нее деньги плачены. Правду говорил Гуша...»

Гафийка взглянула на отца дружелюбно. Вот когда он вспомнил про Гушу...

О наймах не было больше разговора, но все знали: придется Гафийке служить. Маланка хворала, сразу осунулась и не каждый день выходила из хаты. Гафийка отправлялась на работу одна. Старая беда снова возвратилась. Горько было Маланке.

Вот вырастила дитя, берегла, заботилась о нем, готова была для него все сделать, звезду с неба достать, а теперь отдай людям на поругание.

Она знала, что значит служить. Это хорошо знали ее натруженные руки, ее душа, заглушенная внаймах, как цветок сорняками.

Одно утешало Маланку: вот-вот будут делить землю. Тогда Гафийка оставит работу и вернется домой.

А как пришлось отвести Гафийку к Пидпаре, Маланка была будто с креста снятая. Кланялась и просила не обижать ребенка.

У Пидпары Гафийка работала с утра до вечера. Хозяйка была больной, немощной женщиной, которая все стонала и едва шаркала по полу истоптанными башмаками на босу ногу. Вся домашняя работа легла на Гафийку, а больше всего хлопот доставляли ей свиньи. Кабаны лежали в свинарнике, а боровы, матки и поросята рыли двор. Утром, пока Гафийка готовила им еду, все это визжало, верещало, хрюкало и тыкалось пяточками в дверь. А над головой надоедливо стонала хозяйка, скрипел ее голос, и шаркали ее башмаки по полу. Гафийка радовалась, когда, наконец, попадала к свиньям. Свиньи, назойливые и прожорливые, сразу набрасывались на нее, рвали из рук, оглушали визгом и едва не сбивали с ног. Она ничего не могла сделать и только смотрела, как свиньи опрокидывали поило, месили ногами корм и гадили. Те, которых откармливали, вели себя лучше. Чистые, тяжелые, они не хотели тревожить свой зад и только приподымались на передние ноги. Их надо было просить есть. Они не хотели. Шурили сонные маленькие глазки, подымали вверх чистые кругленькие рыльца и так нежно стонали: ох!.. о-ох!..— будто хозяйка. Гафийка почесывала им животы, такие розовые, полные; тогда они отставляли еще и заднюю ногу, а завитой хвостик, словно живое колечко, все время вздрагивал... Ох... о-ох!..

Сюда любил заходить и сам Пидпара. Когда его высокая фигура появлялась в дверях и на загородки падала

ть, Гафийка вздрагивала. Она боялась Пидпары. Он был неприветливый, суровый; вечная озабоченность таилась у него под густыми бровями, блестела серебром в черных волосах. Он тыкал палкой в кабанов, заставлял их подыматься и щупал хребты. Не глядя на Гафийку, говорил ей строго:

— Смотри у меня, девка, чтобы чисто ходила за свиньями... Божья тварь любит, чтобы о ней заботились.

Кроме Гафийки, было еще два работника. Пидпара выжимал из них все соки. Ему все было мало работы. Он сам работал за двоих. Когда голодные работники ели много, он ворчал жене: «Как есть, так взопреет, а за работу примется — зябнет... Бряк-стук, лишь бы с рук...» Когда же еда была плоха и работник откладывал ложку, Пидпара сердился: «Нищие! чем они кормились дома? водой да картошкой!»

Гафийке казалось, это он про нее говорит.

Особенно ненавидел Пидпара бедных. Сдвигал густые брови и с презрением цедил сквозь зубы: «Голытьба, что у него есть... Работал бы лучше, лентяй, так и было бы у тебя. А он только на чужое зарится...»

Одно было хорошо, что хозяин редко сидел дома. Он вечно был в поле, на сенокосе, в клуне, у свиней. Всюду от его высокой фигуры падала тень — и там, где она падала, работа, казалось, шла быстрее.

Иногда, в воскресенье, Пидпара снимал с вешалки жупан и подпоясывался широким поясом.

После ухода Пидпары хозяйке становилось не по себе, будто она умирала.

— Пошел на сход... ох, ох... что-то колет в груди... Моего люди слушают очень... Что скажет, так и будет... Страх как уважают. Хотели старостой выбрать, да мой не хочет. Чтобы не быть добру без хозяйского глаза... Ох, мое горенько... ох!

Но было так, да не так.

Пидпара возвращался сердитый.

— Черт его знает, что случилось с народом, — жаловался жене. — Прежде что скажешь, всяк тебя слушает, а теперь хоть молчи... такая распущенность. Уж эти мне главари, голытьба! Тьфу!..

Под его бровями ложилась тень.

Иногда собирались гости. В праздник, когда спадала

жара, приходил Скоробогатько Максим, староста сельский, которого дразнили «волчком», и тесть Пидпары, Гаврила. Они располагались во дворе, на вольном воздухе, а Гафийка выносила из хаты сало и рыбу. Хозяйка, хотя было тепло, натягивала козух и тоже присоединялась к компании.

Они ели и обсуждали, где что выгоднее продать, кто сколько чего собрал, кто кого и как обманул. У рыжего Максима была привычка собирать со стола все крошки в щепотку и бросать в рот, а после сала облизывал пальцы. И не потому, что был голоден, а чтобы не пропало. Он беспокойно моргал, вечно смеялся и поворачивал во все стороны широкое лицо, густо усеянное веснушками. Он любил перевести степенный разговор на скользкие темы.

— Вот скоро начнет голытьба землю делить... Ха-ха!.. Зачем богатым столько земли? Чтобы, значит, «всем по семь»... Ха-ха... у тебя сколько? Тридцать? Вот двадцать три и отрежут. Ха-ха!..

Пидпара не любил шуток. Но Максима не легко было остановить. Он уже подмигивал Гавриле:

— А вам, кум, не грех и больше отдать. К чему вам, в самом деле, вы уже старые, пусть голытьба своего добьется — покушает хлеба.

— Конечно! Что миру, то и бабе,— криво усмехался Гаврила.— Еще придется на старости за сноп работать.

— Ой-ой! Еще и как! Разве уже забыли, как жнут?

Пидпара сердился.

Черта лысого возьмут. Он ничего не даст. Что деды-отцы кровью добыли, то нерушимо. А что приобрел — то его труд, и всякие лодыри пусть помалкивают.

— Уложил бы на месте, как собаку, если бы кто решился, не побоялся б греха.

Пидпариха куталась в козух и стонала:

— Ты хоть бы ружье получше купил. Ох, ох... боже милостивый. Твое негодное, бечевкой перевязываешь...

— И такого хватит... зачем деньги тратить...

«Ну, этот и клочка земли не выпустит из рук, пока жив»,— качала головой Гафийка.

После таких разговоров Пидпара хмурился еще больше.

Готовясь ко сну, он поправлял на стене ружье и клал рядом с собой топор.

Гафийке делалось страшно.

С неба сквозь густое сито сеется мелкий дождик, а Мажуга накрыл плечи мешком и ходит по деревне. Сгибается, разгибается, как складной ножик.

— Слыхали, пан не хочет прибавить цену?

— Откуда ты знаешь?

— Только что Прокоп с людьми был у пана.

— А что пан?

— Как было до сих пор, так, говорит, будет и дальше.

Дороже не даст.

— Так. Что же нам теперь?

Мажуга подымает руку, будто оглоблю, сжимает кулак, и слова вырываются из впалой груди, будто из бездны:

— Бастовать будем.

— Не захотим мы, наймут ямищан.

— Ямищане не пойдут. Они тоже подняли цену.

Олекса Безик выходит со своего двора, а за ним по грязи скачут ребятишки, словно цыганята.

Он на все согласен. Забастовка так забастовка. Хуже не будет. Мажуга идет дальше. Его фигура в сетке дождя становится то длиннее, то снова короче, будто рыба в неводе бьется. Маланка спрятала руки под фартук и злобно сверкает глазами.

— Так, мужички, так. Лезьте в ярмо, жните за тринадцатый сноп. Послужите пану.

И поджала сухие, увядшие губы.

— Не дождется. Пускай сам жнет.

— Да ведь жнивье колется...

Александр Дейнека сквернословит. Тяжелая брань гремит всюду, как цеп на току.

Дейнека мокнет, а в хату не идет. В толпе ему легче.

— Уперся пан, будем держаться и мы.

— Против общества ничего не сделает.

— Не заставит жать.

— Понятно.

— Бастуем и все,— решает Полтора Несчастья.

А Мажуга уже на другом конце села людей поды-
мает.

— Слыхали?

— Да, слышали.

— Ну что ж?

— Как мужики.

— Бастуют.

— Раз бастуют, и мы с ними.

А панская нива дремлет, как море, в серо-зеленом ту-
мане, и снится ей серп.

Хома сидит на холме, Андрий рядом. Солнце печет.
Плывет марево над селом, над нивами, и танцуют в нем —
налево завод, направо усадьба.

Голос у Андрия тонкий, плаксивый. Словно мило-
стыню просит, заглядывает в глаза Хоме.

— Видите, Хома, что со мной сделали?

Но глаза у Хомы мутные, точно мыльная вода. Уста-
вились куда-то в пространство, и только изредка, как на
мыльном пузыре, мигнет в них зелено-красный огонек.

— Куда я теперь? На что я годен без рук?

— Х-ха!

— Им такие не нужны. У них есть здоровые.

Хома молчит.

— Что ж мне — пропадать?

— И пропадешь.

— Где ж правда на свете?

— Молчи, Андрий. Молчи и гибни.

— Живой не хочет погибать.

— Теперь он плачет, а прежде радовался: винокурен-
ный завод! Диво какое!.. Тряси того лихорадка, кто его
ставил!

Андрий сразу гаснет и уже скорей для самого себя го-
ворит:

— Съели меня, пане добродзею... Взяли да и съели...

— А ты думал — они пожалеют? Гляди сюда!

Хома берет Андрия за плечо и поворачивает налево.

— Видишь тех, кто там! — Потом поворачивает его
направо. — И тех, кто здесь, богачей, князей... Они на лю-
дей капканы ставят, как на волков. Попался — сдерут с
тебя шкуру, освежают начисто, а то, что им не нужно,
выкинут на свалку.

— Правду вы говорите, Хома, ой, правду...

— Ты думаешь, завод ставят, фольварк строят? Они цепи куют людям, ставят ловушку, чтобы человеческую силу поймать, кровь человеческую выточить, чтоб вас черви источили, как шашель балку...

Андрию душно. Старые слова говорит Гудзь, а они режут сегодня душу, как острый нож, будто бельма с глаз снимают. На мгновенье его взор проник сквозь стены завода, сквозь стены панской усадьбы и смотрит вглубь поновому.

— Испоганили землю, точно парша,— слышит Андрий.— Сколько их — горсточка, а смотри, как насели земле на грудь, как далеко протягивают руки. Задушили они деревню своими полями, будто петлей шею, загнали в щель,— видишь, вон лежат деревни, как кучи навоза на панском поле, а над ними дымят сахарные и водочные заводы да людскую силу перегоняют в деньги...

Андрию удивительно, что он впервые сегодня заметил, какие действительно небольшие затерянные в полях деревни. Будто кто-то обронил на площади немного соломы с воза. И еще ему удивительно, что панский пастух словно вырос сразу вот тут, перед ним. Сидит рядом, врос в землю, точно дуб, и к его ногам покорно катят желтые волны поля, и даже солнце покорно стелется низом!

Андрий забыл свои жалобы. Он только смотрит и слушает.

— Погляди на меня, а я на тебя. Ты мне седой волос покажешь, свое увечье, а я тебе что? Может, душу свою, которую зарыл в навоз, когда пас панскую скотину! Я в навозе все зарыл, чем горела душа, а ты и другие смотри и молчали, чтоб у вас языки отсохли, кроты слепые...

Вот это так! А что смог бы Андрий? Чем виноваты люди?

Хома вонзает в Андрия свои мутные глаза. Резкий, колючий смех высекает из них искры, и в серо-желтой глубине их начинается все кипеть.

Андрий не может моргнуть, ему не по себе.

Хома молчит, но Андрий слышит, что смех клокочет в Хома, как вода в котле.

Смех вырвался, наконец, и потемнело солнце.

И вдруг большое горячее лицо придвинулось близко, к самому уху Андрия, дохнуло жаром. Слова полетели так быстро, что он их едва ловил:

— Не смог бы? Врешь, смог! Видишь — поля... пшеница, как море... панское богатство... А ты взял спичку — одну из коробка спичку — и полетел в небо дым, а на земле остался только пепел... Видишь — дома, дворцы, полно скота, добра... а ты пришел — маленький, серый, как мышинная тень, — и за тобой одни головешки...

Хома говорит все быстрее и быстрее, комкает слова, свистит и клокочет.

— От пана к пану... с винокуренного завода на сахарный... от одного панского логова к другому... всюду, где людская неправда гнездо себе свила, пока не станет голый земля...

У Андрия глаза лезут на лоб, по спине мурашки.

— Слышишь? — свистит Хома. — Одна голая земля да солнце.

Хома сумасшедший... Что он говорит?

Андрию надо что-то ответить, но его язык, трусливый, как заяц, прячется куда-то в горло.

Наконец, дар речи вернулся, но выходит совсем не то, что нужно.

— Бог с вами, Хома. Разве это можно?

Хома глядит молча, потом цедит высокомерно, будто в глаза плюет:

— Хам ты... Червяк... Гибни, пропадай, чтоб и следа от тебя не осталось, будто ты никогда и не жил...

— Вот это так! Какие же вы, Хома...

Но Хома не слушает. Встает, высокий, злой, и входит в пшеницу, как в воду, а Андрий прилип к земле, словно прошлогодний гнилой лист.

Эконом стоит без шапки перед паном, и на бронзовом лице, по которому всегда бродило солнце, пан видит какую-то тревогу.

— Что такое, Ян?

— Прóшу пана, сегодня нельзя начинать жать.

— Это почему? Разве Ян не распорядился вчера?

— Все село обегал, прошу пана, да никто на работу не вышел. Не хотят жать по нашей цене.

— Как так не хотят?

Пан вздрогнул. Забастовка? У него? Пан оскорблен. Ему известно, что по деревьям были забастовки, но чтобы

бастовали у него, — ведь он всегда был добр к хлопцу, прощал ему потравы, а жена его никогда не отказывала больным в порохе хины, касторке и арниковой примочке... Он хочет услышать еще раз:

— Ян говорит — не хотят?

— Да, прошу пана.

Обычное дело. Хлоп — что волк, как его ни корми, все в лес глядит.

Пан смотрит в окошко. Солнце только что встало.

— Ну, хорошо. Вот что... сейчас же на лошадь и одним духом в Ямища. Нанять ямищан. Не захотят — набавь цену.

— Слушаю пана.

— Лодыри!

Но еще не успела утренняя тишина поглотить цокот конских копыт, как со двора влетает в дом глухой шум, и только высокий женский голос разрывает его, как пламя дым.

Что там?

Пан открывает окно.

Все работники на дворе. Пастухи даже.

Дивчата с кухни на бегу шуршат юбками... Какие-то чужие люди.

— Что там за крик? Что за люди?

Пан запахивается, закрывая грудь, и старается понять, что случилось, но на него не обращают вниманья..

— Максим! Кто там? Максим!

Максим, наконец, бежит, какой-то неуверенный, с испуганными глазами, за ним другие.

— Это, прошу пана, не наша вина... Жизнь дороже службы... Искалечат, что тогда дети будут делать...

— Что такое? Ну! Говори!

Работники отвечают хором:

— Как что? Забастовка. Не оставим работу — побыют... Да что тут говорить, идем... Эй, хлопцы, айда!.. Это, пан, не наша воля...

Кровь заливает мозг пану.

— Куда вы! Сто-ойте!..

Заскрежетал злой голос, как железо о камень, и вдруг сорвался. Пан слышит, что упал его голос, разбился, и нельзя слова сказать. Да это и не поможет. Работники уже у ворот. Сбились в них, как серая отара, которую гонят на луг. Из домов выбегают дивчата и только мель-

кают красным на солнце. Со скотного двора, опоздав, спешит, один среди опустевшей усадьбы, пастушок. Поднял полы, картуз надвинул, кнут извивается за ним по земле, точно змея, и оставляет кривой след.

— Куда ты? Шельма! — топает ногой. — Назад!

Пастушок только прибавляет шаг. Пан стоит минуту и смотрит на опустевшую усадьбу.

— Бести! Хлопы!

Поспешно натягивает штаны и выбегает во двор.

Пусто.

Идет вдоль строений. Странно. Не его усадьба. Будто чужая.

Заходит на людскую кухню, толкает ногой дверь и кричит:

— Марина!

Никого.

— Олена!

Тихо.

На людской кухне — как в кузне. Закопченные стены, выбитый пол, а кислый запах пота и закваски, как кот ленивый на печи, прочно залег на кухне. Охалка дров около печи, начали чистить картошку. И все это брошено как попало.

Пан идет дальше. По двору разбежались гуси; гусята переваливаются с боку на бок, словно ветер гонит по мураве желтый пушок. Не погнал, значит, пастись. Пан качает головой. Коровы так и остались в хлеву. Ворота каретного сарая открыты, и черная пустота глядит оттуда, как из беззубого рта. Бричка стоит на дворе, а около нее валяется упряжь. Ах ты скотина, быдло! Пан берет упряжь, чтобы отнести в сарай, но сейчас же бросает. Неужели никого нет и на конюшне?

— Мусий! Эй!

Снова тихо.

— Мусий! Ты тут?

Странно падает голос в окрестную пустоту и без ответа исчезает.

Пан складывает руки на животе и осматривает двор...

— Что ж это такое?

Сон это или действительность?

Вот только что усадьба была как сердце, которое бьется и гонит по телу кровь; теперь все замерло, остано-

вилось, и каждая закрытая дверь, каждая черная дыра — будто загадка.

Собаки увидели пана и с визгом кидаются ему под ноги, скачут на грудь.

Прочь!

А, бестии, хлопы!

Возвращается в дом. И там всюду пустота. Жена еще спит. Он проходит через пустые комнаты, заглядывает в столовую, ищет горничную — ни души. Злоба душит его. Хлопает дверьми, опрокидывает стулья и хочет так крикнуть, чтобы по всем комнатам запрыгала пока еще сдерживаемая брань.

А, бестии, быдло!

Где Ян?

Останавливается и прислушивается.

— Ян!

При этом слове сразу зашумели вокруг него поля, заволновалась спелая пшеница. А жать нельзя!

Где Ян?

Вот и получай. Сам же он послал Яна в Ямища жнецов нанимать. Ямищане, конечно, придут, и все кончится. Но эти хлопы!

Пан не может усидеть дома. Его тянет во двор. У этого мертвого двора какая-то притягательная сила. Пан еще раз проходит по нему из конца в конец, одинокий и беспомощный, мимо запертых сараев, мимо раскрытых темных конюшен, мимо влажных и блестящих коровьих глаз.

А Ян, обливаясь потом, весь в туче пыли, скачет обратно. Лошадь тяжело дышит, и тяжело дышит эконом, трясясь в седле.

Его встречают криком:

— Что, панский холуй, нанял ямищан?..

— Где твои жнецы, много их? Ха-ха!

Ян скачет, не оглядываясь, и только молча грозит нагайкой в поднятой руке.

Село ушло в себя, ждет. Глаза его всё видят, уши всё слышат. Усадьба посреди деревни — как мертвец, хоть все в ней тихо и недвижимо, а возбуждает тревогу.

Известие, что ямищане не хотят наниматься, мчится скорее, чем лошадь эконома.

День рабочий, а все дома. У ворот группы людей, двери хат настезь. На огородах остановилась работа.

Стоят люди между грядками, скрестив руки, и разговаривают с соседями через плетни.

— Слыхали? Ни души в усадьбе. Ушли все...

— Они давно бы уже присоединились, ждали только, пока мужики начнут.

— Что ж это будет?

— Начнет сыпаться зерно — набавит цену.

— Смотрите, чтоб не наняли чужих.

— Где там, не пустят. Наши не пустят чужих.

Прокоп уговаривает:

— Держитесь. Будем друг дружки держаться — и одолеем.

Его слушают, глядя ему прямо в рот.

— А как же, гуртом, говорят, и отца бить сподручно.

Богачи ворчат. Они по колени вошли в землю, им тяжело.

— Забастовка! Будет вам забастовка... не один почешется... вот черт знает что.

Впрочем, не очень боятся.

Молодежь смеется.

— Ловко?

— Ловко?

К полудню дети приносят весть: пан пошел на завод. Из окон, с огородов, из-за плетней движутся вслед за паном сотни глаз. Пан идет, и на него, как звезды с неба, смотрят глаза.

— Пошел на завод к зятю.

— Обедать пошел, дома ничего нет.

— Не наварилося.

Даже Панас Кандзюба вкусно чмокал губами:

— Обуть бы тебя в постолы.

Вскоре опять новость: паныч Леля послал в усадьбу рабочих с завода.

— Наши побили рабочих.

— Неправда. Никто их не бил. Не пустили — и все.

— Пусть сам пан за скотом смотрит.

— Мы не запрещаем.

Прокоп просит Дейнеку и двух хлопцев стать на страже и никого не пускать в усадьбу.

Немного погодя из усадьбы выезжает пани на лошадях, присланных с завода Лелей.

День тянется долго, будто год. Кажется, что пшеница

на поле сыплется, что пан не выдержит,— вот-вот позовет жать, согласится на требования мужиков.

После полудня снова сломя голову скачет по деревне эконо. Стегает лошадь и подпрыгивает в седле, будто хочет коня обогнать.

Едва успеваешь увидеть круп конский да спину эконома.

— Понесло куда-то в Пески.

— Не разживется и там. Не наймет.

— А что?

— Бастуют.

Вечер уже близко, а перемен никаких. Только в господской усадьбе ревут коровы.

Тихо садится солнце; красное на зеленом небе, должно быть к ветру. Что-то гнетущее, тревожное незаметно растет на земле. Рдеют, как угли, окна, и рев скота разрывает густой воздух.

Хоть бы накормил кто скотину.

— Разве она виновата... Стоит, бедная, не евши, не пивши...

Скотина в усадьбе все громче ревет. Коровы не мычат уже, а хриплым скрипучим рыком, полным отчаянья и муки, зовут на помощь. Лошади сердито ржут. Неистовствуют в стойлах, бьют землю копытами, ноздри их раздуваются от гнева.

Женщины в тоске выбегают из хат.

— Ой, слушать не могу, как плачет скотина.

— Ей-богу, сама побегу кормить...

— Тоскливо как, господи... У меня дети даже плачут.

Смеркается. Тени выползают из своих убежищ и тайком, исподтишка ложатся земле на грудь.

Из усадьбы упорно и нестерпимо катятся в деревню волны дикого рева, точно корабль гибнет на море и в предсмертном отчаянье надрывает горла сирен.

Тогда Прокоп посылает хлопцев в усадьбу.

Скот не виноват.

Пан молчал — и люди тоже. Ходили на поле, жали свой хлеб и посмеивались злорадно, когда панский эконо ни с чем возвращался из соседних деревень. Солнце пекло, пшеница сохла и готова была течь. Приезжал

становой. Почтовые колокольчики, лай собак, грубая брань и крики — все это пронеслось, как туча в летнем небе. Так и уехал ни с чем. Только Хому взяли,— он становаго напугал.

А пшеница текла.

Тогда эконоом стал податливей. Ставил водку и все уговаривал. Кто выругается, а кто и выпьет. Пили водку — почему не выпить? А работать не шли. Может, коекому и хотелось, да боялся. А пшеница текла.

Маланка пошла в поле. Припала ухом к безбрежной ниве, словно чайка грудью к морю, и слушала, как тихо сыплется зерно перезревшего колоса, мягко капает на землю, точно плачет нива золотыми слезами. Ей жалко, как ребенка, хотя и панское. Становится на колени, раздвигает колосья и собирает красные зерна так осторожно, нежно, любовно, точно младенца вынимает из купели. Хлебец святой!..

Кое-кто из постоянных работников вернулся к пану. А жатва не начиналась. Наконец, через неделю пап набувил цену. Не такую, как люди хотели, а все же значительно ббльшую, чем прежде.

— Становиться?

— Станем.

Прокоп тоже советовал:

— Пора.

Люди сразу припали к господскому полю, как к воде в зной, наставили копен, скирд.

А Хому Гудзя скоро отпустили. Он возвращался как раз господским полем. Только взглянул на жнецов и криво усмехнулся.

Низко стелются тучи, растут, сбиваются в груды и опадают. Ветер будто сено сгребает в ночном небе, ставит копы.

На лугу тяжело дремлют черные стога, будто пасутся сытые волы. Они расплываются и исчезают в темноте, но Хома видит их всюду: вот тут, с правой стороны, позади и слева над головой. Сено такое скользкое, гладкое, так хорошо пахнет, что хочется засунуть в него руку, расшевелить мертвые стебли и выпустить на волю приглушенный запах душицы, горошка и донника.

Острый, колющий смешок шевелится в груди у Хома, подкатывается к горлу. Ха-ха!..

Поработали руки, походили ноги, пока собрали такое богатство.

И вот один миг...

И не кончает. Он будто видит: ставят копны. Пан прохаживается, как аист. Нагнулся, сунул в сено нос. «Прошу пана?» — «Как золото чистое...» — «Сгребайте, люди, сгребайте, чтобы дождь не смочил...» — и поглядывает на небо. Засунул руки в карманы, штаны на нем черные, а куртка белая, и вновь зашагал по лугу, как аист.

И смех танцует в груди.

Хома лениво засовывает руку в карман и не вынимает.

Еще успеет.

Ветер шумит среди стогов, пьяный от запаха сена, тучи ложатся на луг, ночь — будто озеро в берегах неба, а Хома снова видит: стоит перед паном эконоом, арапник — сбоку. — «В этом году у нас больше сена». — «Да, прошу пана, хватит на зиму, будет и на продажу».

«Будет на продажу», — говорит сам себе Хома.

Он осторожно надергал сена и встряхнул им. Потом достал из кармана спички.

Ветер гасит огонь, но Хома нагнулся, прикрыл огонек ладонями и загляделся, как лепестками розы заалели его руки.

Сено не хочет гореть. Потрескивает и дымит прямо в глаза. Это сердит Хому. Однако сено начинает гореть.

Тогда деловито, спокойно Хома отходит к другому стогу. Сверкнет на мгновенье светлячком и вновь сгинет в темноте.

Кончил наконец.

Теперь он хочет смотреть.

Ложится на живот в отаву, кладет голову на ладони и ждет.

Стога отчетливо чернеют, даже закрыв глаза, Хома их видит. Когда же раскрывает глаза, стога сена уже не те, окутались дымом, и такие легкие, подвижные.

Маленькие огоньки начинают играть под ними, как дети в красных юбочках. Они скачут по бокам и лезут вверх, а черная масса то пригибается под ними, то вырастает вдруг, словно старается сняться и полететь.

Голова Хома тяжело лежит на ладони. Удивительное спокойствие разливается по его жилам, только глубоко где-то, на самом дне, в груди, червячком извивается смех.

Стога тем временем растут. Дым расправляет крылья и увлекает за собой огонь. Это уже не дети в красных юбочках, а что-то огромное, упорное, как зверь, который хочет сбросить с себя груз. Протягивает из-под стога лапы в синих жилах, сжимает и подминает под себя, будто медведь. Раскрывает кровавую пасть и пожирает. Рвет зубами и злобствует.

Стога уже вянут, оседают, а он все еще брызжет звездами, как кот слюной, все дышит синим огнем, плещет пламенем в берега черной ночи.

Хома смеется. Смешок вырвался из его горла и покатился по морщинистому лицу, а от этого Хоме легче на сердце. Пришел огонь и словно выжег в груди больное место.

Огонь!

Красный, веселый, чистый!

Еще недавно лежал он в темном коробке, холодный и незаметный, как Хома среди людей, а теперь огонь мстил за мужицкие обиды.

Гори, гори...

Мутные глаза Хома тоже мечут искры. Если б могли, все сожгли бы, все превратили в пепел — сено, хлеб господский, постройки, самую землю предали б огню...

Ведь все это грешное... Все грешное на проклятой земле... Все грешное, один огонь святой. А как же. Сам бог в гневе бросает огонь на землю.

Ты наживаешься на мужицком поте и слезах, на мужицкой обиде, поганишь землю, а огонь упал — и где это все? Ищи в облаках, ройся в пепле... Ха-ха!..

Злобная радость наполняет сердце Хома. Ему хочется встать, крикнуть, захохотать. Но что-то его держит, что-то сливает с огнем, и кажется, если встанет или не будет смотреть, стога погаснут, перестанут гореть.

Стога в конце концов покорились. Послушные, тихие, они равномерно пылают, как свечи в церкви. Туча розовеет в небе, а даль бьет черными крыльями, как летучая мышь.

На озаренное поле упали от стогов тени и боязливо дрожат. Вокруг тихо.

Сено дотлевет понемногу. И лишь иногда вырвется с треском сноп искр, либо ветер выхватит обгоревший клоч сена и разметет звездами.

Внезапно далекий шум долетает до Хома. Верно, бегут спасать. Хома усмехается криво.

Бегите, спешите! Ему не хочется вставать. Все равно. Поймают? Пусть...

Голоса все ближе. Уже слышно, как тяжело дышат люди, как взлетает земля из-под копыт!

Тогда Хома подымается, наконец. Потягивается, разминаясь, и лениво, медленно, взъерошенный и черный, уходит в темноту.

Убирали позднюю гречиху, когда в деревне неожиданно появился Гуца. Его не сразу узнали. Он оброс бородой, стал старше и казался каким-то чужим. Гуцу приняла хорошо. Крепко и долго хлопцы жали ему руку, как-то по-новому смотрели в глаза. Даже Андрий был уже не тот. Потрепал по плечу, подмигнул хитро и засмеялся.

— Что, отсидел?

Мол, знаем, за что.

Как-то иначе, не так, как прежде, мужики говорили:

— Отсидел в тюрьме, больше нас знает.

Его спрашивали — как? что? Что слышно о земле, что люди говорят и так далее. Он был желанный гость.

Гафийка узнала про Марка от Пидпары. Он сердито жаловался:

— И так от голытьбы житья не стало, а тут еще Гуцу выпустили.

Гуцу?

У Гафийки остановилось сердце. Хорошо ли расслышала? Едва дождалась сумерек и побежала домой.

Но по пути наткнулась на Гуцу.

— Марко!

Не помня себя, протянула к нему руки.

Они горячо обнялись.

Случилось все так неожиданно и просто, будто только вчера расстались.

Гафийка смеялась звонким, отрывистым смехом, точно монисто нанизывала. Сама не знала почему. Рука Марка тепло лежала на ее талии. Борода щекотала лоб.

— Смотри, а у него борода, как у старика...

Они отошли под вербы.

Гафийка была какая-то новая, прозрачная, казалась старше.

— Ты меня не забыла?

— Нет, не забыла.

— Ждала?

— Ждала.

— И листочки разбрасывала?

Голос ее дрожал.

— Тебе откуда известно? Конечно, разбрасывала. Знаешь, Марко, не те теперь люди стали. И у нас была забастовка.

— Ого!

Гафийка была страшно горда.

— А как же. Богатеи так испугались, так испугались. Мой хозяин ходил как ночь, даже есть перестал. Положит ложку — не могу, говорит. И все боится.

— А отцу твоему и до сих пор обидно, что я не в Сибири?

Гафийка вся встрепенулась.

— Где там! Как стряслась с отцом беда — изменился совсем. «Правду, говорит, сказывал Гуца...» Хорошо, что ты вернулся. Теперь нам легче будет...

— Кому это нам?

Тогда Гафийка рассказала Марку, как они целую зиму собирались вместе, как Прокоп приносил из города книжки и листовки, сколько к ним присоединилось народу. Даже Прокопов дядя, Панас. «Расскажите, говорит, про этих демократов...»

Гафийка рассмеялась, вспомнив дядю Панаса.

— Такой потешный!..

Марко взял ее руку в свою.

— Хорошая ты.

Гафийка покраснела, даже ночью видать было.

— Что — я...

Вокруг Гуци скоро стала собираться молодежь. Он все знает, — сидел в тюрьме. От него впервые услышали, что деревни всюду организуются в союзы. Долгими осенними вечерами велись бесконечные беседы и споры. В своей небольшой группе он завел новшество — общую работу. Вместе пахали и молотили — и все выходило

лучше и скорее, чем у других. Почему-то сами собой прекратились в деревне пьяное озорство хлопцев, драки и ночная гульба. Те, которые недавно бесчинствовали, теперь втянулись в работу, в общее чтение. Даже старики хвалили Гущу. Они ходили к нему узнавать, скоро ли будет нарезка. Он, наверно, знает. Марко смеялся. Никто по доброй воле земли не отдаст. Как! не будут землю делить? Что ж тогда будет? Что им делать?

Только у господского пастуха Хома на все был готовый ответ:

— Как что делать? Бить. Не оставлять и на семена их...

Андрий из-за плеча Хома подымал искалеченную руку, грозил ею и взвизгивал:

— Бить и жечь! Хочешь, пане добродзею, отведать меду — выкури пчел...

Кого им слушать?

Гуща говорил о союзе. Прокоп — о воле, а Хома советует бить и жечь.

Панас Кандзюба, тяжелый и серый в своей свитке, как земля, которую отвалил плуг, тоскливо спрашивал глазами: куда идти? где правды искать?

Он никому не верил.

— Разве мужик знает?

Если б пришел кто-нибудь другой, понимающий, протянул руку, указал путь.

А мужик? Что знает мужик? Одна на нем шкура, да и та в заплатках.

Каждую ночь теперь пожары. Как только стемнеет и черное небо укроет землю, далекий горизонт сейчас же расцветает красным заревом и до самого утра осенние тучи, как розы. Иногда зарево дальше, едва заметное, чужое, будто луна там всходит, а иногда вспыхнет под самой деревней, даже хаты розовеют и рдеют окна.

Выйдет Маланка из хаты, спрячет руки под фартук и заглядится на пожар. Что горит? Где? Люди не спят, хотя пора б уже им спать. Стоят у ворот, читают небесные знаки. Раздаются голоса из темноты, кто знает — чьи, и замолкают во тьме.

— Пан в Переорках горит.

— Где там! Ближе — вроде как в Млинищах или в Рудке.

— Поджог, видно...

Собаки воют по дворам, и уныло и страшно осенней ночью.

— Вчера горела экономия в Гуте.

— А позавчера клуню кто-то поджег...

— Сгорела, рассказывают, дотла... один пепел...

Случалось, огонь подавал весть огню. Как только займется где-нибудь небо — с другой стороны встает сейчас же красный туман и расправляет крылья. Тогда черная деревня — как остров в огненном море. Ветер иногда доносит чад, далекий набат, тревогу.

Что делается, господи боже!.. Горят всё господа, генералы, важные «особы», к которым прежде и подступиться нельзя было, — и никто остановить не может...

Бродили ночью люди, как тени, плакали дети, и скот отвечал им из хлебов. Огонь то подымался, то опускался, будто дышала грудь, вставал снопом, расплывался туманом, и цвели тучи на небе, будто розы.

Маланка трепетала.

— Иди спать, — сердился Андрий.

— Страшно, Андрий...

— Чего там страшно! Так им и нужно.

Но Маланка не могла спать. Еще долго раздавался топот ног на улице, слышались чьи-то слова, светились маленькие окна, и тоскливо выли собаки.

Утром дым кочевал над деревней и щекотал ноздри. Люди дышали гарью и смотрели на панскую усадьбу.

Лукьян Пидпара даже почернел. Каждую ночь снимает со стены ружье и идет в поле к своей клуне. Ходит страшный, высокий, за ним волочится его тень, которую отбрасывает он, озаренный пожаром. Пидпара все слушает. Изпод косматых бровей вдаль кидает взгляд, а уши чутко прислушиваются к малейшему звуку. Вот обошел он во круг риги и вдруг останавливается: что-то чернеет в поле.

— Кто там?

Поле молчит, обессиленное летом, спит мертвым сном, рыжее, ободранное.

Пидпара снова ходит. Оттуда, из огненного моря, идут на него все страхи, все тревоги, а он крепко сжимает ружье и бросает в пасть ночи:

— Кто идет? Буду стрелять.

Стоит крепкий, как из железа, и целится в темноту.

Нет никого или притаились?

Стреляет.

«Ох-ох-ох...» — стонет тьма над полем, и громче завывают собаки в деревне.

А Пидпара снова ходит, стережет ригу, суровый, страшный, готовый защищать свое не ружьем только, а и зубами.

Дожди шли ежедневно. Выскочит солнце на миг на голубую полянку, чтобы обсушиться, глянет на себя в лужу, и снова ползут на него тяжелые растрепанные тучи. Какие-то желтые мутные дни рождались после беспокойных ночей, а люди прятались под свитку и под рядно, выворачивали шапки козым мехом вверх и месили грязь. Прежде непогода загоняла их в хату, теперь что-то гнало их оттуда к людям. Каждый хотел видеть человеческое лицо, услышать голос. Мало спали по ночам. Одни не могли оторвать глаза от далеких пожаров, другие выгоняли скот на панское поле и не спали, чтобы быть наготове. Правда, после того как эконоом едва убежал с поля в разорванной одежде, никто уже не решался задерживать лошадей, и они с аппетитом грызли молодые всходы, омытые дождями.

Люди словно забыли свою ежедневную работу. Движение в деревне было необычайное. Свое поле интересовало мало. Оно казалось таким небольшим, жалким, недостойным внимания, и лежало запущенное, незасеянное, даже невспаханное.

В сборне было тесно: свитки так жались к свиткам, что от мокрой одежды валил пар. Вести и слухи, неведомо откуда появившиеся, соединялись в одно, росли на глазах, как тесто в квашне. Сухие бессонные глаза глядели каждому в рот, уши внимательно ловили каждое слово. Что будет? Как будет? Всюду подымается народ, бунтует, хочет чего-то, рабочие бастуют, бросают заводы, чугушка не ходит. Что же им сидеть сложа руки, ждать, чтобы о них кто-нибудь позаботился.

У сборни толпились пришедшие позже и старались попасть в дверь.

— О чем они там кричат? Надо, чтобы все слышали.

— Видите ж — тесно. Не поместятся все...

Когда проходил кто-нибудь из богачей, Мандрыка или Пидпара, те, которые мокли у крыльца, зубоскалили на их счет.

— Заходи, услышишь, как твою землю делят.

— Не слушай, похудеешь с досады.

— Ничего с ним не будет. Бедный работу клянет, а у богача брюхо растет.

— Бедный теряет, богач подбирает.

— Ничего. Все переменится. Доведется и свинье глянуть на небо...

— Как станут смолить.

Мандрыка невесело усмехался и семенил ногами. Пидпара хмурился и бранился.

Гуща часто где-то пропадал. Возвращался весь в грязи, мокрый, но веселый. Гафийка встречала его за огородом Пидпары.

— На станции был. Бастуют. Уже второй день машина не ходит. Рабочие собрались и советуются. Надо и нам собирать людей.

— И Прокоп то же думает.

— Нельзя терять времени.

— А где собраться?

— Может, в лесу, по ту сторону балки.

— Ямищан зовите.

— Позовем всех.

Марко хотел уходить.

— Постой, я что-то покажу...

Гафийка вдруг покраснела, она стояла в нерешительности.

— Что там? Показывай.

Гафийка отвернулась от Гущи и что-то вытащила из-под корсетки.

— Держи.

Он взялся за один конец, а она развернула красную китайку.

«Земля и вол...»

— Еще не кончила вышивать.

Она застыдилась, даже слезы выступили на глазах.

— Я так... Если будет нужно... Марийка распоролла новую юбку и вышила тоже, еще лучше...

И замолчала.

Виноватые глаза несмело искали глаз Марка.

Теплый туман стлался по полю и наполнял балку до самых краев, так что деревья утопали в нем.

Ствол чернел в лесу или мелькал человек — трудно было угадать. Лишь там, где плечо касалось плеча или слышалось позади теплое дыхание, люди твердо знали, что они не одни. Только чувствовалось, что из тумана льется в лес живая струя людей, как вода в долину, что ряды росли и сливались в общую массу.

— Кто там пришел?

— Это мы, ямищане.

И снова текли, и мягко шелестело в лесу.

— Кто там?

— Не бойтесь. Свои...

Уже чувствовалось, что и вдалеке, так же, как тут, дышат груди, тело касается тела и что-то живое объединяет близких и далеких, как волна объединяет отдельные капли.

Чиркает кто-нибудь спичкой, на мгновение покажется из темноты десяток серых лиц, вздрогнет молочный туман, и заиграет, как риза в церкви, желтая осенняя ветка.

— Чего молчат? Пусть говорят...

— Говорите... говорите...

Огромное тело колыхалось в тумане, и от края до края одна кровь переливалась в жилах.

Все равно кто говорит. Лишь бы услышать, наконец, то, что связало бы все разрозненные мысли, слило бы надежды в один поток и указало, куда идти.

Земля!

Зазвенело слово, как высокая струна, и настроило сердца.

Старое, знакомое, близкое слово. Это не тот серый, жестокий клочок, который, как пиявка, высасывает из человека силы, а сам родит один чертополох; это что-то чарующее, влекущее, что испокон веков манит истомившуюся душу, переливается, играет на солнце, как мечта, как нечто несказанное, отчего изменилась бы судьба и выше поднялись воды жизни, выйдя из берегов.

Земля — дар божий, как воздух, как солнце...

Земля общая. А кто ею обладает?

А кто же ею обладает? Пан, богач...

Есть поле у богатых, но есть и бедный мужик, у которого ничего нет, кроме рук и ног... Только свои четыре конечности...

В тумане то тут, то там, как островки, возникали глухие голоса:

— Теперь скажем так: мне нужна земля, ведь своей нет, и тебе нужна... А пан это видит и подымает цену...

— Не пан подымает, а сами деремся из-за аренды, потому, ты не возьмешь, возьмут люди. Никто не хочет с голоду пропадать — вот и платишь...

— Все равно пропадешь... Земля и семян не возвращает, голодная не хочет родить. А что уродилось, все взял пан.

— Пропадает твоя работа... А на тот год снова идешь к пану, себя обманываешь...

— Страшна неминуемая смерть...

— Слушайте, слушайте! Будет вам там!

Земля принадлежит трудящимся. Кто богатому дал его богатство? Мы, мужики. И откуда сила у него? От нас, мужиков... Деды наши, отцы и сами мы всю жизнь работали на пана. Разве мы не заработали себе землю?..

И опять в тумане звенели отдельные голоса, как заде-тые струны:

— Подати плати, солдата дай, чтоб землю нашу от врага защищал... А что же мне защищать, если у меня земли нет? Сделай сперва так, чтобы была у меня земля, а тогда и бери солдата, если есть у него что защищать!

— Разорим насиженные гнезда, как делают другие, выкурим богачей, чтобы не решались вернуться, тогда миру свободнее, тогда у нас будет земля...

Панасу Кандзюбе очень хотелось высказаться. Он уже не раз кричал: «Люди! Православные!» Но ему не давали говорить:

— Молчи, мешаешь.

А он уже лез на дерево, неуклюжий в своей свитке, как медвежонок, так что ветки трещали.

— Люди православные!

— Кто там говорит?

— А кто его знает...

— Православные, мы долго терпели. Оно верно, что паны толстобрюхие за людей нас не считают, словно львы рыкают на мужика; народ разорили, да еще и охотятся за нами с солдатами и полицейскими всякими. Точно за зверем. Но потерпим еще немного. Подождем великой милости и справедливости.

— От кого?

— Знаем! Ждали!

Вздрогнул туман будто, и всколыхнулось что-то внизу и вот-вот плеснет в берега.

— Нет терпения! Лопнуло...

Панас слез уже на землю и виновато обращался к соседям.

— Да я что? Я согласен.... Я на все согласен... Как люди...

— Отыскался умник, потерпим, говорит.

— Тише, пусть говорит, кто начал.

— Говори, Гуща!

Внизу шумело, точно поток в паводок катил камни и рыл берега.

А из тумана, как из облака, возникал голос и падал среди людей.

— Вся земля наша, испокон века, ведь каждый комочек, каждый вершок полит потом, удобрен кровью трудящихся. Отберем землю, и тогда у каждого трудящегося будет вдоволь хлеба для себя и детей.

Вот настоящие слова: отберем землю!..

Они прозвучали в такой тишине, что слышно было, как устраивалась птица в гнезде или спросонья была крылом на верхушке дерева.

Отобрать землю!

Эти два слова до сих пор лежали на дне каждого сердца, как сокровенный клад, а теперь, добытые оттуда, стали чем-то живым и звали: идем за нами, мы поведем.

Не разорять и не жечь, а отобрать. Огонь, что возьмет, того уже не отдаст. Идем и отнимем свое, неправдой взятое у нас и у отцов наших. Отберем хлеб свой кровавый, для роскошества оторванный от голодного рта.

Груди так глубоко вздохнули, что даже лес ответил.

Огромное тело разрасталось, будто выпрямляло затекшие ноги и руки. Почуяло силу. И благовестило в нем, как колокол на пасху: «Будет земля... Отберем землю...»

Ту самую землю, которая, как далекая мечта, только манила и не давалась в руки, которая играла перед глазами, как марево в зной...

Теперь она близко — протяни руки и возьми.

И не хотелось расходиться из лесу, разрывать на части могучее тело...

Неспокойно было в селе. С той ночи, когда собрались в лесу и постановили отобрать господскую землю, прошла целая неделя, а люди колебались. Все напряженно ждали, а чего именно — никто хорошенько не знал. Одни одно говорили, а другие другое,— и эти разговоры плелись, как сеть, без начала и конца. Бастовала чугушка, бастовали рабочие, всюду было глухо, мутно, пусто как-то, и только грачи черной цепью крыльев связывали с остальным миром деревню.

Что-то творилось вокруг. Будто приближалась грозовая туча, а откуда придет, где выпадет град и что побьет — неизвестно. Тяжело, тревожно дышалось всем в эти хмурые дни, и беспокойно проходили длинные осенние ночи. Если бы кто-нибудь крикнул на помощь, раздался б неожиданно набат или прорезали густой воздух ружейные выстрелы, люди выбежали бы из хат и бросились очертя голову друг на друга!

Гафийка не могла спать по ночам. Как только смеркалось, Пидпара запирает дверь в сени, долго пробовал, крепки ли запоры, и, прежде чем ложиться, снимал ружье, клал возле себя топор.

Гасили свет, но Гафийка знала, что хозяин не спит. Слышала, как он беспокойно шевелился на лавке, тяжело сопел, садился и прислушивался.

Потом снова ложился и лежал притаившись, но вдруг вскакивал и шарил по полу рукой, пока не находил топора. Тогда снова наступала тишина. Под лавками пищали мыши, уже перебирившиеся на зиму в хату, да тараканы шелестели по полкам. Но Пидпара не спал. Гафийке казалось, что она видит его открытые глаза, вонзенные в темноту.

Наконец, Пидпара вставал и выходил. У Гафийки колотилось сердце, и в такт его ударам раздавались шаги Пидпары около сарая, возле стожков или под стенами хаты.

Хозяин иногда выбирался на ночь в поле, под клуню. Тогда хозяйка снова бродила всю ночь, боялась, стонала, охала и шаркала башмаками от окна к окну.

С работниками Пидпара обходился лучше, не бранился, не подгонял, как прежде, но в спину им всегда глядел подозрительный глаз, а во время разговора внезапно вставала за ними тяжелая, как колокольня, фигура Пидпары и отбрасывала тень.

Гафийке иногда становилось так тяжело, что она просилась на ночь домой.

Маланка не рано ложилась. Андрий вечно был где-то на людях и возвращался поздно, а Маланка весь вечер мечтала. Что-то будет. Придет что-то прекрасное и переменит жизнь. Что-то вдруг случится — не сегодня, так завтра. Ей не хотелось ничего делать, и, сложив руки, как в воскресенье, она вышивала словами хитрые узоры. Вместе с Гафийкой она становилась на пороге в сенях и долго смотрела, как всюду светятся окна по деревне. Там в каждой хате чего-то ждут, готовые вспыхнуть, как сухой хвост, который осталось только поджечь. В каждой хате цветет надежда, растут ожидания.

И, наверно, никогда еще так много не выходило керосину, как в эти длинные тревожные осенние ночи.

Ветер прыгал с разбегу, рвал голоса и выл, а бледное солнце, показавшись на миг, высыпало из-за туч на землю свое последнее золото.

Гафийка ловила белье, разметанное ветром по двору, как стадо белых гусей. Хозяйская рубашка надулась, катилась круглая, будто беременная, рукавами лоя землю. Ветер свистел Гафийке в уши, ей казалось, что ее зовут.

Нет, в самом деле зовут. Она оглянулась.

У ворот ей махал Прокоп.

— Чего ты?

Она не расслышала, что он говорит.

— Что там такое?

— Неси твой флаг.

За воротами было полно народу. Тут и Маланка со своими высохшими руками, и неуклюжий Панас Кандзюба, и дети, скакавшие под плетнем, как воробьи.

— Быстрее выноси!

— Что случилось?

Гафийка бросилась в хату.

Несколько рук протянулось к Гафийке, но Прокоп взял сам.

Он уже привязывал красную китайку к деревку.

Народ нетерпеливо гудел. Все-таки дождались. Пришел манифест. Пидпара стоял на пороге хаты, черный, как тень, подпер плечом косяк и молча глядел.

Наконец, флаг подняли. Красная китайка затрепетала на ветру, и запрыгали на ней слова, будто живые.

Земля и воля!

Все подняли глаза, и что-то прокатилось по толпе, словно вздох.

И двинулись дальше. Гафийка забыла о белье. Она шла вместе с толпой, точно во сне. Что-то произошло. Ожидаемое, правда, желанное, но неясное. Какой-то манифест.

Рядом с ней Прокоп; ей казалось, что он сразу вырос. Его большие натруженные руки спокойно держали древко, ноги ступали твердо.

Из серого гомона вырывались отдельные слова:

— Слава богу, дождались люди...

— Всем хватит, всем хватит! — звенела Маланка. Ветер рвал эти слова и бросал назад:

— Всем хватит, наша земля...

— Теперь, пане добродзею, отольются волку овечьи слезы.

На красном лице Андрия седые усы белели, как два голубя.

Панас Кандзюба сиял:

— Обуем, Андрий, пана в постолы!

— А как же!

У плетней красные детские ноги разбрызгивали грязь. Дети забегали вперед и пищали:

— Земля и воля! Земля и воля!

Знамя развевалось, словно огонь на ветру...

Из хат высыпали люди. Они снимали шапки, крестились и присоединялись. Встречные заворачивали назад.

— В сборню! Там манифест!

Народ затопил дорогу.

Было в людях что-то новое. Глубокие глаза горели на серых лицах, как восковые свечи в церковном сумраке. Гафийке казалось, что она понимает каждую душу и каждую мысль, как свою собственную. Что-то торжественное было в трепете знамени, в тихой грусти осеннего солнца, в взволнованно-светлых лицах.словно в темную весеннюю ночь пылала восковые свечи в руках и плыло к самым звездам: «Христос воскрес».

Внезапно передние остановились.

Из-за угла показался другой поток и преградил дорогу. И там красное знамя было впереди.

— Земля и воля!

— Земля и воля! Поздравляем с праздником.

— И вас также....

Все смешались.

Маланка уже обнимала кузнечиху.

— Кумушка, кума...

Не могла говорить.

Они целовались. Сухие Маланкины руки тряслись на толстых боках кузнечихи.

— Слава тебе, господи, слава...

Ветер сорвал у кузнечихи слезу с кончика носа.

Двинулись дальше. Теперь два знамени, соединившись, поплыли вместе. Они волновались, они извивались, как открыленное ветром пламя.

Народ облепил сборню так тесно, что свитки слились в одну общую массу и нечем было дышать. На крыльце что-то читал Гуца. Он уже устал, охрип, но пришедшие позже тоже хотели слышать. Дальние вытягивали шеи, прикладывали ладони к ушам. Передние не хотели никого пропускать, чтобы еще раз услышать. А люди все шли и наваливались друг другу на плечи.

— Что ж он читает — воля, свобода, а где же земля?

— Разве не слышишь? Он только про землю и читает.

Низенькую Маланку совсем затерли. В тепле, в испарениях человеческих тел ей совсем хорошо. Она не слушает. Зачем? И так известно. Это уже все знают, что землю отдали людям. Лучше б, чем тут стоять, пойти всем вместе на панское поле, пустить по нему плуг. Посмотреть скорее, как он взрезает немеряные поля, отваливает пласт, наделяет людей. Вот твое, а это мое... Чтобы поровну всем. Смотрите! Даже Андрий поднял искалеченную руку, показывая ее мужикам, чтобы не забыли про него. А давно ль проклинал землю? Ну, это дело прошлое. Теперь она добрая, зла не помнит, не сердится на Андрия. Сама земля улыбается ей, говорит с нею. Вон как играет на солнце рыжим жнивьем.

У сборни собрался весь мир.

Село опустело. Одинокое извивались между хатами грязные дороги, словно ползли черные змеи, ветер выдерживал солому по стрехам, а на разрытые огороды спускались тучи воронья.

Какая-то старуха, выбравшись из хаты, держалась за стены и сердито кричала в пустоту:

— Где люди? Горит что? А!

Никто не отвечал ей. Только ветер стучал дверями покинутых хат, коровы блуждали по дворам да грызлись собаки в ворохах сухих листьев.

Народ понемногу возвращался из сборни.

Двое идут:

— Слыхал? Свобода, воля, а какая воля?

— Откуда я знаю? Бить панов.

— А я понял сразу. Дадена воля, чтоб черный народ истребил панов. Которых, значит, мужики кормят.

Бабы:

— Как будут отбирать экономию у пана, я возьму только рыжую корову.

— А мне б только пару гусей на развод. Такие хорошие гуси...

— Будет что взять. Не возьмем мы — возьмут чужие, а пан-то ведь наш...

— Известно. Не дадим никому своего.

Парубки вдруг наполнили улицу песнями.

Около хат богатеев они останавливались, подымали в воздух знамя и во весь голос выкрикивали:

— Земля и воля!

Если попрятались, пусть хоть услышат. Это им — как перец собаке...

Гуцу и Прокопа едва не разрывали. Как же это будет? Скоро начнут делить землю? А купленную землю отберут?

Марко хрипел, едва успевая отвечать на все стороны, а Прокоп был спокоен, как всегда.

Маланка ловила его за полы.

— Прокоп, слушай меня... Это я, Маланка... Подождите ж, мужики, дайте сказать. Слышишь, Прокоп, чтоб мне отрезали поближе, там, где пшеница родит... Смотри, не забудь... Слышишь, Прокоп, а?

Она все кланялась, сухая и маленькая, охваченная одним непреодолимым желанием.

Каждый день приносил какую-нибудь новость. Там экономию разобрали до основания, там сожгли водочный или сахарный завод, а в другом месте рубили панские

леса, пахали землю. И ничего за это не было. Паны бежали, исчезали перед лицом народа, как солома в огне. Ежедневно ветер приносил свежий дым, а люди — свежие рассказы, и никто больше не удивлялся. Вчера это была сказка, сегодня действительность, — что ж удивительного в этом? Правда, винокуренный завод паныча Лели, экономя пана мозолили глаза. Чего еще ждут?

— Разве мы хуже людей? Ведь решили.

Недовольные были, но брали верх Гуца и Прокоп.

Однако по вечерам кое-кто запрягал лошадей и порожняком украдкой выезжал на ночь из села. Ходили и пешком. Засовывали топор за пояс, брали мешок подмышку и тянулись по полю в соседние деревни за панским добром. Ночью по грязным дорогам беспрестанно катились фуры, нагруженные мешками с зерном, картошкой, сахаром. Пешие возвращались конными, верхом на горячих лошадях, или гнали перед собой корову. На другой день спали до полудня, и только по колесам, запачканным в навозе, соседи угадывали, что тот или другой ездил ночью за добычей. Иногда дети играли новыми игрушками — осколками пузырьков, дверными ручками, или молодница шила на зависть другим роскошный очипок из материи, которой паны обивали мебель.

Ходила и Маланка.

Она едва приволокла мешочек муки, тяжело дышала и стонала.

Андрій уписывал вкусные паляницы да все похваливал, но Маланка не ела.

— Почему не ешь? — удивлялся Андрій.

— Не могу. Чужое оно.

— Зачем же ты брала?

— Все брали, взяла и я.

Мука мешала Маланке, как покойник в хате. Она не знала, куда ее деть.

Богатей притаились. Их точно и вовсе не было в селе.

— Что-то наших верховодов не слышать, испугались, сидят по хатам, — смеялись люди.

Но там, где их было много, они не молчали. Панас Кандзюба, вернувшись от сестры из Песков, рассказывал:

— Прихожу в село, будни, а люди — в церковь. Остановили и спрашивают — кто и почему, зачем пришел, к кому. Осматривают, будто я вор. Ну, хорошо. Зять тоже в

церкви. Сестра едва на ногах стоит, идет, шатается, а глаза красные да мутные. Ах, боже... «Что с тобой, говорю, больна?» А она в плач: «Не больна, говорит, боюсь. От бессонницы извелась. Пятую ночь не спим, не гасим огня, опасаемся, как бы не задремать. Ждем, когда придут». — «Кого ждете?» — «Голытьбы. Передавали — ждите нас, будем жечь. Чтоб не было ни бедных, ни богатых, одни средние. Страх берет людей. Днем еще ничего, видно — кто идет, кто едет, а приходит ночь — бережемся. Вчера вышел мой на улицу, уже солнце садилось, и скачет кто-то верхом. Мой на колокольню, ударил в набат. У меня сердце так и упало. Это ж поджигатели. Сбежались люди, стащили верховых с лошадей, связали, повели в сборню. «Жечь хотите нас? Бей их!» Те кричат: «Мы сами гонимся, говорят, за поджигателями». Никто не верит. Да уж церковный староста спас. Если б не узнал, забили б насмерть». Рассказывает сестра, а сама вся трясется. Ах, боже...

А тут зять пришел из церкви. Синяки под глазами, видно уморился. Ну, хорошо. «Какой у вас праздник нынче?» — спрашиваю. «Праздника нет, а люди молебен служили, чтоб отвратил бог беду. Одна надежда на бога».

Ну, сидим, разговариваем о том, о сем, а зять нет-нет и клонит носом — дремлет. Сестра тоже едва продерет глаза, чтобы слово вымолвить. Уже смерклось. — какой теперь день! — поужинали, свет горит. Пора бы и спать — не спят. Вышел из хаты — по селу огни, никто не ложится... Ах, боже... Так как-то не по себе стало мне, страшно. А наши сидят. Заскребется под лавкой мышь, а они уже наострили уши. Поздно, уже все сроки прошли ложиться, не спят. Слышим, петухи поют, а в окно видно, как среди ночи всюду мигает свет по селу. Когда вдруг что-то — бах! Стрельнул кто-то из ружья. Так по селу и покатилося. Ну, хорошо. Сестра застыла на месте, только руками схватилась за грудь, а зять вскочил — и в сени. Схватил железные вилы — и дальше. А я за ним. Бегу и вижу, как из хат выскакивает народ, кто топор держит наготове, кто вилы, а иной ружье. Ах, боже... Куда бежать? Где? Кто стрелял? Выбежали за село, какие-то люди стоят. Не спрашивая, бросились бить. Били смертным боем, куда попало, пока не отогнали. До самого рассвета никто уже не спал, а утром пошли смотреть. Восемь лежало готовых, один был еще теплый, стонал... Ах, боже!

Назначено было сойтись на площадь к сборне. Гуща пришел раньше. Он беспокойно бродил под крыльцом и все посматривал. Прокоп уже был здесь.

— Не сходятся что-то,— тревожился Марко.

— Еще рано, придут.

Однако и Прокоп волновался. Нелегко было утихомирить народ. Вокруг были погромы, пожары, пронесшиеся по деревням огненным ветром, всё захватившие своим вихрем. Люди не хотели отличаться от других, от соседей, и немало требовалось труда, чтобы остановить их. Но Гуща и Прокоп победили. Они доказали людям, что не надо жечь и разрушать народное добро. Не пан ставил дома. Мужичьи руки укладывали бревно к бревну, балку к балке, и все это должно было теперь служить мужикам. Сегодня должно было решиться, кто победил,— они или Хома, подбивавший все уничтожить, все жечь.

Народ понемногу собирался. Вот показался Семен Мажуга во главе целой толпы. Панас Кандзюба тоже вел мужиков. Площадь наполнилась и начинала шуметь. Марко пожимал всем руки, ему было душно, что-то подкатывалось к горлу, и, услышав свой голос, он его не узнал.

— А знамя принесли?

— Вот оно! Есть,— откликнулся Мажуга и, развернув, поднял.

— Все пришли?

— Все.

Можно было выступать. Но не выступали. Только когда знамя качнулось и тихо поплыло в воздухе, зашевелились и пошли. Ноги шлепали по грязи, словно раки в мешке шептались, а кособокие халупки, бедные, оборванные, как-то недоуменно глядели на этот поток.

Панская усадьба дремала, сонная и пустая. Там будто никого не было. Только псы заворчали и попрятались.

Народ влился через ворота во двор, словно вода сквозь горлышко бутылки. Из конюшни показался кучер. Гуща велел позвать пана.

— Пана нет.

— А где же он?

— Сбежал ночью.

Волна прошла по народу.

— Сбежал? Ну, хорошо. Пускай выйдет приказчик.

Ян вышел из конторы бледный и без шапки. Его холодные глаза тревожно заметались по людям. Он бессознательно отступил назад. Но Гуца остановил его, вытащил из кармана бумагу и начал разворачивать. Среди необычайной тишины слышалось только, как шелестели листочки. Казалось, что Гуца слишком медленно это делает. Наконец, он кашлянул, выпрямился и высоким, будто чужим голосом приступил к чтению. Все уже знали этот приговор, но теперь он казался новым, торжественным, как слова, слышанные ими в церкви. Так, так. Уже знали, что с нынешнего дня земля не панская, а мужицкая, что народ берет ее назад, в свою собственность. Ниву, освященную трудом дедов и внуков.

Все слушали молча, затаив дыхание.

Гуца кончил и обратился к Яну:

— Ты нам не нужен. Укладывайся и убирайся.

Ян хотел что-то сказать, но не мог. И только беззвучно шевелились его побелевшие губы да чего-то искали дрожащие руки.

Он пошатнулся и, как пьяный, направился в контору.

Но там не остался. Через минуту выскочил, испуганно взглянул на толпу и хрипло крикнул:

— Мусий! Запрягай бричку.

Панаса Кандзюбу это взорвало.

— Бричку! А телеги навозной не хочешь? Слышите, мужики, он хочет бричку!

Народ словно проснулся. Послышался смех.

— Вишь захотел! Прошло его время.

— Не давать бричку.

— Готовь, Мусий, телегу.

— На которой навоз возят.

Мусий бросился к телеге.

Но Ян не захотел.

— Не надо лошадей. Пустите, пешком пойду,

— С богом!..

Эконом надвинул шапку и как-то боком прошел сквозь толпу. Его глаза, будто захваченные врасплох мыши, с

ужасом встречали каждое лицо, руки готовы были защищаться, но никто его не тронул. Наконец, когда Ян очутился за воротами, всем стало легче, точно соринка выпала из глаза.

Надо было принимать экономию.

— Как будем принимать?

— Выберем троих. Пускай хозяйничают. Там будет видно.

— Довольно троих. Прокопа, Гущу и Безика, может...

— Нет, лучше Мажугу...

— Пишите приговор.

Олекса Безик вынес на середину двора стол, Гуща и примостился за ним.

Стояло серое осеннее утро. Все было серым. Небо, далекое поле, голый вишняк за домом, постройки и мужики. Дух конского навоза и свежих яблок крепко держался в воздухе.

Стался шум. Маланка никому не давала покоя. Надо б написать, чтоб скорее делили землю. Чего ждать? И так довольно ждали. Пусть каждый уже знал бы, что принадлежит ему и где. Ее глаза горели, и она всем надоедала. Запах яблок щекотал ноздри. Почему бы не отведать? Хотя оно и народное добро, как говорит Гуща, но в доме, наверно, много любопытных вещей. Наливок, мягких подушек, посуды да всяких чудных безделушек, которых мужику и видеть не приходилось. Неужели все это и останется там же? Молодицы заглядывали в окна. Ключница будто догадалась, вынесла из погреба две корзины яблок и всех уюшала.

Тем временем Гуща кончил. Народ подходил долго, и долго тяжелые рабочие руки выводили каракули или ставили крест, чтобы было крепче.

Прокоп созвал всю челядь, отобрал ключи.

— Кто не хочет служить обществу, может уходить из усадьбы.

Не захотели ключница и кучер. Их не удерживали.

Усадьба понемногу опустела. Остались только те, кого выбрали — Проксп, Гуща, Мажуга. Панская усадьба перешла к народу.

Никто так искренне не заботился о «народном добре», как Прокоп. По целым дням он бегал от гумна к конюшне,

от скотного двора к току, выдавал работникам харчи, лошадям овес, зерно птицам. Всюду сам смотрел, наводил порядок. И все записывал в книжку, чтобы знали, что, куда и сколько пошло. Качал головой и удивлялся: какой беспорядок! Нет, все-таки пан плохой хозяин. Гибло добро без хозяйского глаза. Надо хлеб молотить, а машина до сих пор неисправна. Плуги заржавели, нет лемехов, на лошадях порванные шлеи. Все требует труда и денег, а денег не было. Тогда посоветовались все вместе, и Прокоп повез пролавать пшеницу.

Все трое поселились в конторе, в тех комнатах, где жил эконом. Жена требовала, чтобы Прокоп ночевал дома, ей было чудно без хозяина в хате, но он и слушать не хотел: его выбрало общество.

По ночам ему не спалось. Выходил из конторы, погружался в темноту осенней ночи и прислушивался, как сторож колотил в доску. Было странно и радостно вместе с тем. То, что недавно видел лишь в мечтах, теперь осуществлялось. Жизнь повернулась лицом к мужикам. Справедливость взглянула в глаза. Не будет ни бедных, ни богатых. Земля всех накормит. Народ сам выкует себе счастье, лишь бы не мешали. Вот эти дома, панские покои, по которым прежде бродил один ненасытный, жадный человек, теперь пойдут под школы. Тут станут собираться мужики, там будут чтения. Ему рисовалась новая жизнь, ночь расступалась, сияли огнями окна, голоса раздвигали стены, распрямляли грудь...

Еще не светало, а Прокоп будил работников, звенел ключами.

В руках у него вечно белела книжка. Он заносил в нее каждую народную копейку, каждый колос.

Из села приходили люди.

— Ну, как там экономия наша?

Всем было интересно, как ведется хозяйство, что управители делают, что лучше — разделить ли землю между людьми, или, может, сообща обрабатывать поля и тогда уже делить хлеб. Маланка едва ли не во весь голос кричала, чтобы скорее делили. Им объясняли, водили на ток, на скотный двор, советовались, как использовать постройки.

— Тут бы стоило школу устроить, — говорил Прокоп. Но Гуца шел дальше:

— Школа уже есть, лучше откроем народный университет.

Люди соглашались на все,— на школу и на университет. Пусть учатся мужики, не все же одним панам.

Панас Кандзюба смотрел на поле, начинавшееся у ворот и упиравшееся в горизонт, и все вздыхал. Ему было досадно, что пан сбежал, что не придется увидеть «пана в постолах».

А в поле вечно бродили какие-то фигуры и чернели на сером небе. Это нетерпеливые меряли землю, чтобы узнать, сколько придется на душу.

Маланка, подоткнув юбку и согнувшись, переставляла, как цапля, ноги по глинистой пашне.

Хома смеялся, и нехорошо смеялся:

— Стережете панское добро? Ха-ха! Смотрите, смотрите, чтоб не пропало. Поблагодарит пан, когда вернется. А как же...

Зеленоватые глаза его прыгали, как лягушки на болоте.

— Вы думаете, пан сбежал, так уже и конец ему? Как раз! Такой не пропадет. Нагонит казаков полное село, да и шасть в теплый дом. Спасибо вам, мужики, что сберегли. На твоей спине запишет благодарность. Нет, если хочешь делать, делай так, чтоб у него не было охоты возвращаться, чтоб ему глядеть тошно было. Выкури дымом и огнем... Сровняй все с землей, чтобы было голо, точно ладонь...

Хома тыкал грубым пальцем в ладонь:

— Вот!.. Как ладонь.

Те, которым снились панские коровы, породистые гуси и другое добро, ловили слова Хома.

Верно. Если бы не выдумал Гуца, у них все было б, как у людей. Станут ли еще делить землю, или нет, кто его знает, а тем временем какая польза мужикам?

Андрий подымал изувеченную руку:

— Где ж правда? С нами так, а мы что же им за это?

И посматривал на винокуренный завод. Его раздражало, что он еще стоит, гордо подымает трубу, из которой весело валит дым, будто издевается.

— Пан убежал, а паныча Лелю на развод оставили. Пусть гонит, пане добродзею, водку. Хе-хе!

Хома сердился и тяжело дышал.

— Ясно. Так и будет стоять, что с ним сделаешь?

Но Хома знал, что сделать. У него разговор короткий:

— Сжечь.

И это «сжечь», как ветер, со свистом вырывалось у него сквозь зубы.

Казалось чудом, что завод еще стоял. Только мозолил глаза. Всюду по селам покончили с панями, всюду дымились развалины, а тут винокуренный завод. Куда ни помотришь — он. То труба бросится в глаза, то дым, как черный косматый змей, трепещет в воздухе. Ночью гудит гудок, и горят окна, как волчьи глаза, и ничего не изменилось на заводе, будто ничего и не произошло. Что за напасть! Теперь мужицкое право, не панское. Всюду разгромили панов — и все обошлось хорошо. Даже чужие смеются. Если б не Прокоп да не Гуца — давно б уже был всему конец. А паныч Леля? Какая польза от него? Как сосал народную кровь, так будет и дальше сосать. Андрия обидел, неужели ждать, пока и с другими то же приключится?

Андрий, как и прежде, жаловался, но теперь его рука стала сигналом:

— Смотрите, что делают с нами на заводе!

Брали его руку и внимательно рассматривали бесплатую культяпку, будто видели впервые.

Панский пастух шатался всюду, и везде, где он появлялся, его зеленые глаза расшевеливали народ.

Даже сторонников Гуши.

— Чем мы хуже других?

В среду знали уже, что это будет в четверг. Хома ходил от хаты к хате.

— Как ударят в колокол — выходи. Кто не выйдет — сожгу.

Он был на все готов; видно было, не шутит.

Поздно под пятницу горел свет, как в пасхальную ночь. Люди молча готовили топоры, колья, железные лопаты. Детские глаза следили с печи за каждым движением старших.

Иногда, когда звенела лопата, задевая кем-нибудь, или падал лом,— все пугались. Что, уже? Среди напряженного ожидания и тишины иногда вздрагивал воздух, словно гудел набат.

— Тс! Тише!

Прислушивались и, не веря самим себе, открывали дверь в сени или высовывали головы за порог. Холодная мелкая изморось сеялась с неба. Было сыро, неприятливо и тихо. Казалось, конца этому не будет. Пусть бы уже, наконец, подали знак, если это неминуемо. А может, Хома солгал, испугался и ничего не будет? Возвращались в хаты, бродили из угла в угол и еще раз осматривали приготовленное оружие.

Однако набат неожиданно раздался. Медь всколыхнула осенний туман и рассыпалась повсюду. Наконец! Всем стало легче. Выходили из хат, соединялись в группы и спешили. Внезапно разбуженные от холодного сна, колокола хрипло кричали и гнали вперед узловатые фигуры, искривленные непомерной работой, сливающуюся с темной массой тяжелых, мешковатых тел, кривых ног, крепких, как кувалды, рук.

Перед заводом толпа остановилась. Большой каменный дом, где жил паныч Леля и помещалась контора, тяжело серел на черном небе, холодный, темный, и только одно оконце неясно светилось, как полураскрытый глаз. Зато завод смеялся рядом красных окон и гордо попыхивал дымом. Хома ходил среди людей, еще нерешительный, будто не знал, с чего начать. А около дома уже было движение. Кто-то бежал под стеной, подымался по лестнице, и слышно было, как хлопнула дверь. Потом окно погасло — и снова осветилось. Звуки набата колебали редкий туман, бились, разрывались, а в темноте колыхалась толпа. Внезапно открылась дверь, и оттуда послышалось тревожное:

— Кто там? Что вам надо?

Это паныч Леля... Леля.

— Что вам надо?

Хома вышел из толпы.

— Ага! Это ты? Нам тебя и надо. Иди сюда! — и скверно выругался.

Небольшая, одинокая на серой стене, фигура Лели отступила.

— Не подходи. Буду стрелять.

И сейчас же под домом блеснул, точно спичка, огонь, сухо треснуло что-то и раскололо тяжелым раскатом ночь.

Толпа замерла и отхлынула. От волнения на миг заколотились сердца. Но Хома поднял упавший дух.

— Го-го! Он еще стреляет? Бей его... бей!..

Это «бей» обожгло тело, как кнутом, оторвало ноги от земли, погнало, лишая соображения, вперед — в общем движении и дыхании, под натиском силы, вдруг пробудившейся от дремоты, подобно тому как подо льдом пробуждается река.

Темная прихожая застонала от топота ног, и под тяжестью тел, сбившихся в груды, задрожала лестница.

Где Леля? Никто не знал. Тут ли он, или, может, убежал, бьют его или только ловят. Тело наваливалось на тело и чувствовало позади себя горячее дыхание, гнавшее вперед. У дверей произошла давка, а снизу все напирало. Двери были заперты. Хома старался их высадить плечом, и в густой темноте, в которой не видно было лица соседа, раздавались глухие удары, трещали сухие доски. Вдруг дверь подалась, и оттуда пахнуло, будто из бездны. Люди бросились вперед — в черную пропасть.

— Пойдите, сейчас! — крикнул Хома.

Прошла минута.

И произошло чудо, короткий сон, ослепивший всех. Электрический свет внезапно залил большую комнату, словно кто-то махнул серебряным крылом, и отразился на паркете, в ряде больших зеркал, в золоте рам. Белые занавеси, как облачка на весеннем небе, слегка покачивались на окнах, зеленые деревья склонялись над шелком мебели, этажерки с безделушками блестели, как царские врата, а трехногий рояль, словно черный сказочный зверь, открыл широкую пасть и — освещенный — скалил блестящие белые большие зубы. Эта перемена была так неожиданна, что взволнованная толпа застыла, и лица, заполнив все зеркала, едва помещались в рамках.

Но Хома одним махом смазал картину.

Он схватил кол, размахнулся и опустил на рояль. А-ах!..

Трехногий зверь треснул и взревел дикой гаммой струн от жалобных до грозных. А высокие комнаты подхватили

этот рев и разнесли по всему дому. Люди очнулись, ожили, зашевелились. Волна хлынула сквозь двери в комнату и ударила в стены. Тогда вдруг упали колья на тихие воды зеркал, и со звоном брызнули на пол вдребезги разбитые лица, в них отраженные.

А дом все наполнялся новыми людьми. Слепленные светом, оглушенные звоном стекла, они лезли из прихожей, словно осы из гнезда, и набрасывались вслепую на все, что попадалось под руки.

Бей все!

И набрасывались на все. Старались разодрать стулья за ножки, а когда не удавалось, били стульями об пол, наваливались на них грудью, как на живое существо, молча стиснув зубы. Колья сметали фарфор с этажерок дождем черепков, стекла под ударами молотков сыпались из рам, как цвет с дерева. Пьянели. Хотелось слышать только звон, стук, треск, предсмертный хрип каждой вещи, так же тяжело умиравшей, как и живое существо.

Про Лелю забыли.

А рояль не давался Хоме. Черные блестящие бока его трескались и куда-то проваливались при каждом взмахе кола, но он все еще держался на ногах и только выл дико, как зверь, истекающий кровью.

Потревоженная пыль, до сих пор покоившаяся в мебели, теперь дымилась, клубилась в воздухе, отчего свет становился желтым и мутным. Все слилось в одном безумии. Люди пили его друг у друга из глаз, теряя рассудок от предсмертного страха искалеченных вещей, от криков стекла и металла, от стопа струн. Все эти отломанные ножки, оторванные спинки, черепки под ногами, клочки бумаги, пустыня разрушения пробуждали еще большую жажду уничтожить, ломать, бить; и ноги иступленно топтали уже сломанное, а руки искали нового.

Андрей одной рукой ломал ветки живых растений, рассыпал землю из вазонов. Ага! Ты растешь! — упивался хрустом горшков под каблуками.

Хома, с перекошенным ртом, весь мокрый, блестел от пота.

— Гуляйте, дети! Пришел наш день..

Панас Кандзюба старался поднять большой шкаф, но не рассчитал своих сил. Шкаф навалился на него и придавил. Панас вертелся под ним, кряхтел, волок к окну.

Ему помогли другие. Шкаф лег на окно, задрал ножки, и белый низ покачнулся и исчез. Панас высунулся в окошко, чтобы услышать, как шкаф треснется грудью о землю.

Во дворе, в осенней мгле, кишели люди, как гусеницы.

— Чего стоите? Идите помогать. Теперь нам воля.

Комната наполнилась новыми людьми, едва пробиравшимися через груды обломков. Люди рассыпались повсюду, по всему дому, и каждую комнату наполняли криком. Гремели колья и молотки, точно в большой кузнице, трещала мебель и двери, скрежетало железо, а стекло звенело и звенело беспрестанно и сыпалось вниз, как груши с дерева в бурю.

Весь дом трясся от вопля, кричал о помощи в пустые проемы окон, в черный туман, окружавший его.

Отодвигались комоды, и оттуда выбрасывались тонкие сорочки, такие чудные и легкие, словно пушинки, со свистом раздирались куски материи, летали, как паутина, кружева.

У кузнечихи глаза горели, она трясла жирными боками, рылась в грудях и все кричала:

— Не рвите всего! Оставьте мне...

И сдирала с изломанной мебели шелк — желтый, красный, блестящий.

Панас Кандзюба бегал по комнатам, как сумасшедший. Из-за пазухи у него торчала тонкая женская сорочка без рукавов, а руки осторожно держали и прижимали к груди коробку со старым, ржавым железом. Он сам не знал, куда ее деть.

Олекса Безик сиял. Он спас от разгрома банку с вареньем и прижимал ее к сердцу, точно ребенка.

Комнаты были уже ободраны, разбиты, переполнены пылью, как дымом, простиравшим руки к холоду за окнами. На окнах колыхались от ветра разодранные белые занавески, словно перебитые гусиные крылья. Только лампы и канделябры уцелели и упорно заливали все это разрушение светом, нестерпимо ярким.

Грязные, растерзанные люди остановились и смотрели, что бы уничтожить еще, но ничего не было. Голые стены умирали, дыша последним дыханием содранных обоев.

В углу Хома старательно ломал обыкновенный кухонный табурет, грязный, в помоях, наполовину сгнивший.

Андрий прикоснулся к плечу Хома.

— Ну, а завод?

Хома поднял на него бессмысленные глаза.

— Коль бить, так бить все.

И приканчивал недоломанный табурет.

— Довольно, оставьте! — кричал Андрий. — Пора жечь.

Хома пришел в себя. Жечь? Его глаза на мгновение остановились, и в них как бы мелькнул отдаленный отблеск пожара.

— Жечь? Давай.

Они сложили в кучу под лестницей обломки мебели, ножки стульев, обрывки бумаги и подожгли.

— Бегите, горит! — кричал Андрий.

Люди, как мыши, покинули комнаты и в дыму прыгали по ступенькам.

Андрий вынул из канделябра свечу и поджег занавески. Огонь охотно полез по кисее, и черные проемы окон в красных подвижных рамах стали еще глубже. Две Андриевы тени заметались на прощанье по стенам и вместе с ним исчезли.

Андрий искал Хому.

— Теперь завод. Слышите, Хома? Завод, говорю.

Они последними выбежали из дома.

Ночь стояла глухая, еще более черная после света. Но внизу она шевелилась, жила, двигалась и волновалась волнами черного народа, невидимым прибором тел.

Только завод блистал рядом освещенных окон и вздрагивал от хода машин, словно в огромной каменной груди, оживая чего-то, тревожно колотилось сердце.

Рабочие оставили работу и чернели около стен и дверей. Свет из окон играл по лужам нитями золотого ожерелья.

Толпа и завод стояли друг против друга, словно мерялись силами, словно еще решали, кто победит.

Между ними вдруг возникла тяжелая, корявая фигурка Хома.

— Чего ждете? Жгите!

Окна Лелиного дома дымились. Огонь полз по занавескам, проворный, веселый, и уже облизывал оконные рамы со стороны двора.

Безликая в темноте толпа вздрогнула и пошла на завод. Андрий бежал впереди. В левой руке держал какую-то железину, а правая, беспалая, высоко поднималась над головой, будто кому-то грозила.

Вот аппаратная. Теплая, вся в витых железных трубах, колесах, машинах, точно внутренность живота, она тряслась, как в лихорадке, и молниеносно сверкала широким приводным ремнем. На миг ноздри Андрия уловили знакомый запах масла, пара, сухого жара огненной печи — и перед ним возникла его рабочая жизнь, его увечье. Вот как встретились они — машина и ее жертва. Андрий ощутил отрезанные пальцы, и злость затуманила его мозг. Он бросился на приводной ремень и сбил его сразу. Заколыхавшись, приводной ремень со свистом упал, плавно и лениво, как мертвая змея. Аппаратная в последний раз вздрогнула и застыла, а маховое колесо заходило, завертелось так неистово, что, казалось, подхватит с собой и машину. Паровик тепло и тяжелодохнул, полный сил. Черные блестящие бока его раздражали Андрия. Ему хотелось бить эту сытую, толстую скотину, услышать, как она застонет, крикнет, начнет умирать, испустит последний вздох. Он сбил манометр и ударил железиной в бок. Потом пустил пар в гудок. И когда паровик крикнул тем же самым криком, который будил Андрия едва ли не всю жизнь, криком, казавшимся вблизи пронзительным и острым, как шило, ярость лишила его памяти, разума и соображения. Он бил машину изо всех сил, помогал левой руке правой, сворачивал головки гайкам и ломал все, что удавалось сломать. Забыл даже про опасность. Он не видел, что делалось вокруг, не видел всех этих свиток, желтых кожушков, бород и волос, склеенных потом, горящих, полусумасшедших глаз, израненных рук, не слышал, как ударялось железо о железо в этой адской кузнице, которая все перековать хотела в ничто, которая работала, как неумолимый дух разрушения, и наполняла отзвуками на тысячу звуков высокие стены завода.

Хома был всюду. Он, казалось, забыл человеческий язык и лишь, как шлак сгоревшей души, выбрасывал из себя:

— Бить! Жечь!..

Где только ни появлялось его лицо старой бабы, грубо-бокo вспаханное плугом жизни, на что только ни падал

взгляд зеленых глаз, властный и неумолимый, — там дух разрушения заставлял напрягаться жилы, и силы людей становились нечеловеческими.

Хома не чувствовал утомления. Его руки, точно железные клещи, сворачивали медные трубки, и чем неподатливее они были, тем больше разгоралось желание их победить. Ободранные, в ранах, его руки давно обливались кровью, но он даже не замечал этого. Знал только, что должен разбить и поджечь.

Наконец! Крышки с дребезгом упали с цистерн, огонь коснулся спирта, и легкое голубое облачко заколыхалось над ним. Люди сбежались смотреть. Синеватый огонь, такой легкий и невинный, что, казалось, ожечь не может, мягко изгибался и выпрямлялся, будто плавал на спирте, и только иногда подымалась волна с красным гребнем.

Недовольный шепот прошел по толпе.

Это же горит спирт! Настоящий спирт.

Было досадно. При одной мысли жгло в горле, разливалось тепло в груди. Зачем было поджигать, не дав даже попробовать! Теперь ни панычу, ни людям. Огонь пожирает.

Олекса Безик едва не плакал. Неужели погибнет?

Он решил спасти спирт. Ему пришло в голову — нельзя ли зачерпнуть снизу. Ведь горело лишь сверху. Он нашел ковшик и протиснулся сквозь толпу.

— Куда ты?

Его хотели остановить.

Но Безик уже не мог остановиться и сунул руку прямо в огонь.

Синее пламя качнулось, плеснуло в черные края цистерны и упало на пол несколькими огненными клубами.

— Ой, братцы, печет! — крикнул Олекса.

У него горел рукав.

Это была попытка, правда неудачная, но, казалось, не безнадежная. Огонь лишь сверху; внизу чистый, хороший спирт, надо только достать.

Толпа заволновалась.

Тц! Тц! Сколько добра пропадает! Сколько водки...

Во рту сохло, душа просила хоть окропить ее спиртом, хоть разок глотнуть, хоть обмочить губы, сухие

от жажды. Разбить посудину? Пробить сбоку? Запах спирта щекотал ноздри, и горло, сводимое спазмами, глотало слюну.

Горящие глаза ощупывали цистерну, готовые влить в себя, осушить всю посудину, прочную, неприступную, покрытую огнем. Толпа даже затихла от сумасшедшей жажды, единая в своих желаниях и мыслях. А перед ней все выше и шире пылали чаши, полные огня, как жертвы неведомому богу.

Внезапно сзади раздался крик:

— Расступитесь! Дайте дорогу!

И не успели еще расступиться, как сквозь толпу пролетело что-то мокрое, все в жидкой грязи, забрызгало всех и кинулось прямо к огню. На мгновение только мигнула перед глазами черная фигура, поднятая рука и уже протянула людям ведро огня, дымившееся, как сердце, только что вырванное из груди.

— Пейте!

Но как пить?

— Лей воду! Дайте воды...

Кто-то принес и плеснул ее в ведро.

Огонь затих, согнулся, испустил последний вздох и умер.

— Ура! Водка!

Руки подымались и тянулись — дрожащие, но настойчивые — с одним непреодолимым желанием быстрее добыть, выхватить и оторвать от чужих уст теплое противное пойло.

— Давай! Сюда! Оставьте мне! Хватит, нам дайте...

Стоявшие ближе к дверям не надеялись получить водки. Им надо было самим ее раздобыть. Они выбегали во двор, бросались в лужу, как были, в одежде, и катались в грязи в каком-то лихорадочном беспомоществе, чтобы лучше вымокнуть и без боязни прыгнуть в огонь.

Из густого осеннего тумана беспрестанно врываются на завод и лезли в огонь, точно ночные бабочки на свет, дикие, получеловеческие фигуры, мокрые, покрытые корою жидкой грязи, из-под которой блестели одни глаза.

Голубые огни все разрастались и уже цвели на гребнях красным цветом, как тучи на закате. По лицам разлились мертвые, синеватые тона. А среди отброшенных сломанными трубами и машинами теней, в ужасе бив-

шихся по стенам, черные от грязи люди скакали в диком танце и черпали огонь из пылающих чаш.

— Кто хочет? Пейте!

Дом, где жил Леля, уже догорал. Падали балки в пропасть проемов и рассыпались снопами трескучих искр. Завод ровно пылал, весь налитый огнем, истекая пламенем через окна и двери, как рана кровью.

Широкие крылья осенних туч рдели тихо над ним, простершись в бездне ночи.

На другой день всюду было тихо. Люди ходили вялые, опустошенные, будто ленивые. Черная, закопченная труба торчала на холме вместо завода; невольно она привлекала взор, и было странно, что глаз не упирался, как до сих пор, в стены, а устремлялся куда-то дальше, в пустоту поля и рыжих холмов.

Андрей пошел осматривать развалины. На еще дымившемся пожарище попадались любопытные. Белый дымок лениво вился над завалившимися стенами, точно пар в холод из ноздрей скота. В широких проемах окон белели кафельные печи, словно зубы в челюстях скелета. Босые дети рылись в теплой земле, находя всякие обломки и мелкие полуистлевшие вещи. Дети ссорились и дрались, как воробы.

Андрей вошел внутрь. При темноватом свете серого дня, лившегося сквозь дыры окон и через потолок, все казалось чужим, странным, не похожим на то, что было вчера. Вчера тут были машины — теплые, живые, крепкие аппараты, которые упирались и не давались, когда их били. Сегодня — они лежали сломанные, пустые, согнутые вдвое, с пробитыми боками, рыжие, облезлые. Медные трубки бессильно протягивали согнутые концы, сплюсненные, смятые, точно раздавленные кишки, и красная ржавчина от огня выступала на них кровавым потом.

Андрей удивлялся. Неужели это он одной рукой смог нанести железу такие глубокие раны? Он переводил глаза от своих рук на машины и только пожимал плечами. Неужели это он? Уже не чувствовал злости, как прежде, она куда-то исчезла в одну ночь. Ему даже жаль стало этих аппаратов, он так долго ухаживал за ними, точно нянька за ребенком.

Андрей тихо вздохнул и вдруг почувствовал, что рядом кто-то шевелится.

Панас Кандзюба стоял среди обломков, тяжелый и серый, как грудa перегоревшего кирпича.

— Начисто все сломали,— откликнулся Андрий.

— Разве это мы?

Андрий удивился.

— Как же не мы? А кто ж?

— Нечистая сила.

В глазах Кандзюбы была такая уверенность и такой ужас, что мороз прошел по коже у Андрия.

— Никто как нечистая сила.

К заводу подъезжали подводы и отъезжали полные железа, кирпича, обгоревших балок.

— Разберем все, сровняем с землей,— говорили друг другу мужики, но уже оглядывались, какие-то неуверенные, и в занесенных над лошадьми кнутах и в поспешном грохоте колес чувствовалась тревога.

Под вечер по селу разнеслось, что идут казаки. Кто пустил слух, откуда он взялся, никто хорошо не знал. Рассказывали только, что станут обыскивать, и у кого что-нибудь найдут — тому не миновать расстрела.

Повидимому, это дело паныча Лели. Выпустили живым, а теперь людям беда. Надо было сразу убить, а тогда и поджигать. Да уже поздно. Не поможет.

Что делать? Как спастись?

Беда так внезапно подкралась и так неожиданно разразилась, что никто даже не решился думать, как предотвратить ее. Известие принимали как что-то предрешенное, как нечто неминуемое, словно смерть больного. Некоторые надеялись спастись. Они тайком бросали в пруд взятое железо или зарывали его в землю, что у кого оставалось. Да разве это поможет? Разве, случись что, не выдают?

Однако ночь прошла спокойно, а ясный холодный день и совсем успокоил село.

Кто-то выдумал, видно. За что же будут наказывать, если вокруг то же самое. Всюду сожгли и разгромили панские усадьбы,— ведь такое право настало.

Прошло с полдня, а в селе тихо, ничего не произошло.

Прокроп хозяйничал на панском поле, пахал под яровое, кончал поздний сев. Работа шла своим порядком — пан не возвращался отбирать землю, у паныча Лели тоже, видно, не было охоты смотреть на пожарище.

Всюду было спокойно и слухи глохли. Никто им больше не верил.

Прошла и другая ночь. Выбросившие добро в пруд теперь жалели.

Однако весть грянула, как гром среди ясного неба. Теперь уже точно. Олекса Безик ездил в местечко, но с дороги вернулся. В деревню Тернивку прибыли войска. Сгнали людей, кого расстреляли, кого зарубили, остальных забрали в город. Обыскивают, вяжут, бьют.

— Ждите и к нам. Теперь и нам не миновать.

Теперь неминуемо. Это было ясно.

Панас Кандзюба упорно почесывал за ухом.

— Значит, и нас перестреляют?

Его испуганные глаза, полные недоумения, тщетно искали помощи.

Олекса Безик будто ничего не знал. Он пожимал плечами.

— Я не жег, мне ничего не будет.

— Разве ты с нами не был?

— Я? Сохрани боже. Я сидел дома.

— Вот как. А я тебя видел собственными глазами.

— Кого? Меня? Лопни у того глаза, кто меня видел.

Сам поджигал, а говорит на других.

— Я поджигал? А ты докажешь?

— Я докажу.

Виноватых не было. Одни сваливали вину на других, а те на следующих. Выходило так, что все были дома, а если и забегали на завод, то так только, поглядеть. Кто же не смог отрицать своего участия, тот всех обвинял. Все разбивали, грабили и жгли. Село виновато, село и ответит. Но село не хотело отвечать. Упреки и ссоры подымали старую вражду, всплывали забытые обиды и грехи. Наиболее сдержанные всех успокаивали. Замолчите. Ничего не будет. Теперь наша сила и наше право.

В полдень от проезжих услышали про Осьмаки. Там казаки подожгли деревню, потому что мужики не хотели выдать виновных. Деревня горит.

Тогда пошли нарекания. За что всем пропадать? Разве не Хома подговаривал? Не он созывал народ? Хома и Андрий. Не миновать беды и за панскую землю. Пока не было Гуши, в селе было спокойно. Что тут гово-

рять. Гуца и Прокоп взбунтовали народ, они во всем виноваты. Говорили: народное право, наша земля, а теперь — казаки.

Панас Кандзюба волновался больше всех.

— А что? По-моему вышло. «Обуть пана в постолы»... Вот и обули!

Под вечер в селе появился Пидпара. С того времени, как вышел манифест, его никто не видел, он будто исчез. Теперь шел спокойный, высокий, хмурый, словно немного постарел. Его не задевали. Наоборот, провожали завистливым взглядом.

— Такому ничего не будет. Он сидел тихо.

Его считали хитрым, умным и осторожным.

Что ж теперь делать?

Тревога охватила село. Пересудам не было конца. Рассказывали, что в Осьмаках от пуль казацких полегли не только взрослые, но и дети. Недобитых складывали на телеги, как снопы, и так везли в тюрьму. Сквозь щели в телеге всю дорогу капала кровь. Женщины голосили так громко, что слышно было на далеком шляху.

От поджогов сгорели скот и хлеб. Ужас рисовал картины одна другой страшней. Встревоженные люди не могли усидеть дома. Что делать? Как спастись? Кто знает? Беды не миновать. Виделись огонь, развалины и кровь. Дети следили за дорогой, которая вела в село, малейший шум возбуждал тревогу.

Известно, такие, как Хома и Андрий, могли не бояться. Что с них возьмешь? Ни кола, ни двора. Оборванцы, нищие, довели до беды и попрятались. Сегодня сожгли завод, а завтра подожгли у кого-нибудь хлеб. Не зря говорит Пидпара: не жди добра от поджигателя.

Олекса Безик советовал вернуть пану землю. Все же будет меньше вины.

— Ну, а завод?

Правда, его не выстроишь заново. Черные развалины угнетали, как нечистая совесть.

Одни спрашивали, не лучше ли было б выйти навстречу войскам с хлебом и солью, упасть в ноги, покориться.

Другие советовали драться, не пускать казаков.

Но все это было не то.

Один только Пидпара спокойно ходил среди людей и

прислушивался, а его глаза, глубокие и суровые, что-то таили под шатрами бровей.

Всем казалось, что Пидпара что-то знает.

Но Пидпара молчал.

От кого пошла эта мысль, кто первый ее подал, трудно было сказать. Может, Пидпара посеял ее своим суровым взглядом, а может, она сама родилась и осела глубоко в сердце, как камень на дно. Довольно того, что люди молча ее приняли, как последнюю надежду, как единственное спасение. Пусть лучше погибнет несколько мужиков, чем вся деревня. Тяжелое тайное согласие воцарилось между людьми. На миг открылся тайник, что-то выпустил и закрылся вновь. И в нем, как семя в женском чреве, росло что-то и зрело и падало тенью на лица замкнувшихся в себе людей.

В осенней пустоте, обнимавшей село, ощущалось зловещее дыхание какого-то несчастья, нечто неумолимое, неминуемое, жестокое, требовавшее жертв.

У Пидпары перед образами горела лампадка. Праздничное настроение наполняло хату, отражалось на лице Пидпары. Он говорил медленно, тяжело, будто отсчитывал деньги, и перед мужиками был снова прежний Пидпара. Народ толпился в горнице и в сенях. К нему пришли, он снова был нужен. В то время, как страх отнял у остальных разум, ослепил их, только один Пидпара не боялся ничего. Он был, как скала среди растревоженных волн, надеявшихся остановить около нее свой бег и найти равновесие. Он знал, что посоветовать.

Панас Кандзюба утвердительно кивал. Так, так. Пусть приходят войска, когда все уже будет кончено. Виноватых нет. Само общество их покарало. Тогда не за что будет карать других. Не село бунтовало, одни главари. Если б не они, все было бы спокойно. Кто объявил забастовку? Они. Кто захватил господскую экономию? Они. Кто завод сжег? Тоже они. И всем гибнуть из-за них? Лишиться хаты — да что там хаты, может и жизни.

Он волновался.

Пидпара нахмурил брови.

— Теперь он панское берет, а подождите немного, возьмет и ваше. У тебя, скажет, есть десятинка лишняя, отдай. Тот скопил какую-нибудь сотню — лишайся денег. Возьмет у меня, у тебя, Максим, а тогда и у того, кто победней. От них житья не будет.

Гаврила, пидпарин тесть, запустил в седую бороду желтую костлявую руку.

— Что там! Перестрелять, и точка.

Жестокое слово, брошенное впервые, звякнуло, как нож, среди тишины.

Горница тяжело замолчала. В молчаливом согласии, замкнувшем уста, страх рождал подлость.

Как бы не было чего за это?

Тогда рыжий Максим, староста сельский, вытащил из кармана бляху и прицепил на грудь.

— Я отвечаю. Вот бомага. Приказ стрелять всех бунтарей. За это ничего не будет.

Одной рукой он хлопал себя по карману, другой поправлял бляху.

И все блестело у него: рыжие волосы, частые веснушки, начищенная кирпичом медь.

А если так, чего ж ждать? Собирайте сход. Пусть рассудят...

Голая земля, исхлестанная крыльями ветра, серела под оловянным небом. Рядами истомленных хат, будничных и неприветливых, смотрела деревня на своих хозяев, собиравшихся на сход. Шли ленивые, серые, тяжелые, точно комья тощей земли, их породившей. Несли свое оружие — дедовские ружья, перевязанные бечевками, тяжелые ржавые колуны, палки, колья. Всех их гнал страх, привычка слушаться начальства. На сход созывали весь «мужеский пол», а кто не придет, того ждала смерть. Жены провожали мужей с плачем, с воплем, как на тот свет. Кто знает, что будет?

Маланка не пускала Андрия:

— Не ходи, чтоб еще чего, упаси боже, не случилось.

Андрий не слушал.

— Мне, пане добродзею, знак отличия выдан паном, я своих не боюсь.

— Хвались, хвались, Андрийко, увечьем, очень оно нужно кому-нибудь,— шипела Маланка, но и сама пошла за ним.

И снова площадь зачернела от народа. Посередине мужчины, вокруг, до самой канавы, женщины.

Смешанный гул заглушал слова Пидпары. Видно лишь было, как он, высокий, в жупане, махал рукой и сводил острие бровей. Дуло ружья торчало у него сбоку.

— Ой, боже, что-то будет! — пугалась Маланка.

— Погромщикиков станут судить...

— А кого именно?

— Показывают люди на Хому Гудзя, на Гарчина Савву... Смотрите, чтоб не было чего и Андрию...

— Господь с вами,— ужаснулась Маланка.— Мой так же был на заводе, как и ваш. Ведь так полсела пришлось бы судить.

А сама дрожала: где Андрий?

Максим Мандрыка, с бляхой на груди, ходил среди народа.

— Все пришли?

— Все.

— Не пришел Безик Олекса.

— Я тут...

— Надо всех переписать.

Но только приспособился, как к сборне подъехал верхом на панском коне Семен Мажуга. Привязав коня, он протянул руку Мандрыке:

— Здорово, Максим, у меня дело к тебе.

Староста взглянул на него:

— Недостойн ты моей руки. Вот тебе, получай!..

И ударил Семена по лицу.

Семен оторопел:

— За что ты ударил? Меня общество выбрало.

Мандрыка не успел ответить, как Пидпара стал между ними и поднял ружье:

— Расступитесь там, поскорей!

Народ отхлынул назад, словно плеснула волна, и одновременно ахнули люди и ружье.

Окутанный кисеей белого дыма, Семен согнулся и схватился за бок.

— Ой, братцы, за что же мне такое?

Он шатался и безумными глазами искал страшной

разгадки на серых лицах, живой стеной нависших с обеих сторон.

Там не было разгадки и не было надежды. Тогда животный страх заставил его подняться, и он бросился бежать, ничего не видя перед собой, истекая кровью, которая красила ему пальцы и стекала по штанам на землю.

Олекса Безик догнал Семена и ударил сзади колом. Высокое тело сломилось пополам, как складной нож, и упало на землю.

Панас Кандзюба уже был тут. Беспомощное тело, еще теплое, которое так покорно легло к его ногам, всколыхнуло в нем ненависть, какой он не испытывал к живому. Его охватило непреодолимое желание заставить страдать, втоптать в землю, уничтожить. Без надобности он выстрелил в Семена и уже хотел ударить тяжелым сапожищем в грудь.

— Довольно, готов! — откликнулся Безик.

Они взяли за ноги тело Семена, оттащили к канаве и бросили в воду.

Все произошло так неожиданно и быстро, что люди окаменели.

Кровь была пролита. Одна только минута отделяла прошлое от только что случившегося, а казалось, что промелькнула вечность, что прошедшее внезапно упало в пропасть и что-то оборвалось и освободилось от пут.

Из толпы отделились Иван Короткий, Дейнека и еще несколько человек и стали рядом с Пидпарой, готовые на все.

Пидпара вытянулся во весь рост:

— Хома Гудзь тут? Выходи!

Головы повернулись, и тревожно-жестокие взоры скрестились, как мечи.

— Где Хома Гудзь?

— Нет. Не пришел.

На минуту легла тишина и натянулась, как струна. Кого теперь? Чье последнее дыхание вылетит из уст, на чью голову упадет смерть, как камень? Было слышно, как дышала толпа.

— Прокоп Кандзюба!

— Как? Прокоп Кандзюба? А его за что? Его ж выбрало общество?

Староста объяснил:

— Я за ним послал. Он сейчас будет.

— Хорошо. А пока... Андрий Вольк! Ведите!

— Вольк... Андрий...— прокатилось эхо.— Тут... вот он...

— Ой, боже, в чем он перед вами виноват? — кричала Маланка.— Не трогайте его!

Ее голос заглушило тонкое, резкое, неумолкаемое верещание, похожее на визг поросенка под ножом, и только изредка вырывались отдельные слова.

Толпа тем временем двигалась, кипела и выбросила из себя, как похлебка пену, сухую, растрепанную фигуру калеки.

— Иди... иди... вот он... вот тут... Не поможет.

Его толкнули, и он упал на колени перед Максимом, бледный, весь измятый, беспомощный, как чучело в конопле, с культяпкой вместо руки.

— Смилуйтесь... мужики... я ни в чем не виноват.

Он поклонился, коснувшись лбом земли.

Максим поставил Андрия на ноги.

— Крестись.

Андрий сейчас же послушно поднес ко лбу искалеченную руку.

— Бейте его.

Так он и упал. С ним покончили сразу.

И снова по кровавой дороге потащили тело к воде.

Но сейчас же принуждены были бросить. Их останвил шум. Толпа содрогнулась от глухого стога ужаса, от шума поднятых рук.

— Смотрите... вон там... вон там... встает... он еще жив... Семен... Семен...

В канаве из воды поднялась спи́на, как островок, на мгновение поднялась рука, словно ловила воздух, и снова упала. Еще два-три движения, колебания — и длинная фигура разогнулась медленно и закачалась на нетвердых ногах, как привидение в черной сетке стекающих вод. Большие Семеновы руки, будто рачьи клешни, напрасно искали, за что бы ухватиться.

— Он выйдет!.. он сейчас выйдет из воды!..

Те, которые волокли тело Андрия, вскочили в воду и одним ударом топора уложили Семена назад в воду.

И снова тишина сдавила сердце в кулак, снова болез-

ненная жажда кровавого слова превратила минуту в вечность. Чья теперь очередь? Кого позовет смерть? Каждое новое имя давало остальным возможность передохнуть во время короткой отсрочки.

Однако напряженную тишину ничто не нарушало. Пидпара шепотом советовался с Максимом, и только за плечами толпы билось и разрывалось причитанье Маланки да женский плач.

Внезапно все встрепенулись. Толпа вздохнула огромной грудью, и словно рябь пробежала по ней, как по воде.

— Ведут! Прокоп идет!

Прокоп подходил спокойный и деловитый, как всегда. Так же, как всегда, аккуратно лежала на нем одежда; как обычно, медленны были его движенья. И невероятным казалось, что этот человек идет на смерть. Вот сейчас подойдет, остановится, достанет из кармана засаленную тетрадку и прочитает обществу, сколько вспахал, засеял и что продал. Иначе не могло и быть.

Все глаза вонзились в него. А он спокойно приближался.

Ему попалось под ноги пятно свежей крови. Он заколебался на мгновение, точно боялся вступить на кровавую дорогу, побледнел и поднял глаза. Они остановились на ружьях, вилах, топорах, на Пидпаре и группе людей, уже стоявших наготове. Он понял.

Однако поздоровался.

Пидпара махнул на него остриями бровей.

— Почему сам не пришел? Еще посылать за тобой... Готовься. Дашь ответ перед богом.

— Разве ты поп? Я дам ответ обществу. Оно выбирало меня.

— Поздно уже, братику. Сейчас помрешь.

— За что?

— Некогда разговаривать с тобой. Сам знаешь. Быстрее говори, что хочешь сказать,

— Общество так присудило?

— Общество.

Прокоп взглянул вокруг. Рядом с Пидпарой стояли Олекса Безик, Иван Короткий, Александр Дейнека, дядя Панас. Все единомышленники.

— И вы против меня? Что я сделал?

Они молчали.

Спасенья не было.

Дядя Панас прикоснулся к его плечу:

— Может, позвать Марию?

Проккоп безнадежно махнул рукой:

— Позовите.

Она едва протиснулась сквозь толпу — в новом жестком кожухе, в который кутала ребенка, и сейчас же упала на оба колена на мокрую от крови землю.

— Помилуйте нас, пан староста, и вы, честной мир... Если б его не выбрали, он бы там не был.

Она кланялась низко, вместе с ребенком, то в одну, то в другую сторону.

— Довольно, Мария... вставай... — останавливал ее Проккоп. — Слушай, Мария...

И на минуту замолчал. Забыл все сразу.

— Слушай, Мария... Вот что... лошадь продайте... за чем она вам...

— Ой, боже! — голосила Мария.

— Молчи. Из тех денег отдай десятку Пилипу, я у него брал... хлеб, как намолотишь, не продавай, чтоб была своя мука... мою одежду оставь сыну, вырастет — сносит.

— Скорей там, — торопился Пидпара.

— Ой! — голосила Мария.

— Кланяйся маме... пусть простят... ну и все. И ты прости...

Он трижды, как перед говением, поцеловался с нею, приложил холодные губы ко лбу ребенка.

— Готов? — спрашивал Максим.

— Еще у меня деньги общественные... ключи.

Он полез за голенище и вытащил оттуда тряпицу.

— Посчитайте... Тридцать восемь рублей и двенадцать копеек.

Потом вспомнил:

— Еще две копейки.

И вынул из кармана вместе с ключами.

Максим взял.

— Чего хочешь еще?

— Позвольте снять жупан.

Он расстегнулся и остался в одной сорочке.

Вокруг него сочувственно шумели:

— Добрый жупан!

— Жаль было б запачкать кровью.

Пидпара забивал патрон в ружье, остальные ждали наготове.

— Стойте! — остановил их Панас Кандзюба. — Я сам. Он все еще топтался около Прокопа.

— Крепись, сынок. Служил до сих пор миру, послужи ему напоследок. Страшно нам... войско идет... не всем быть в ответе... тебе заплатит бог... Перекрестись.

Прокоп перекрестился.

Мария все голосила и рвала на себе кожух. Ее оттащили в толпу.

— Прощайся, сынок...

Прокоп поклонился на все четыре стороны.

— Простите меня, мужики... Может, перед кем в чем провинился. Прощайте...

— Бог простит... Прости и нам...

Панас Кандзюба снова прикоснулся к племяннику:

— Куда тебе стрелять?

— Стреляйте в рот.

Белый, как сорочка на нем, он старался раскрыть рот, но не мог. Нижняя челюсть тряслась, твердая и неподвижная, точно деревянная.

Панас приставил ружье почти к самому лицу и выстрелил.

А в ответ на выстрел лицо плюнуло струйкой крови и залило Панасу руки и грудь.

Прокоп упал на колени. Пидпара добил его сзади.

Народ пьянел от запаха крови, смертного крика, запаха пороха. А Гуца? А Хома Гудзь? А Иван Редька? Как! Он еще жив?

Однако ни Хома, ни Гуца не было. Они куда-то исчезли. Пидпара послал желающих искать их.

Старавшихся потихоньку скрыться за спинами остальных уведили в сборню. Оттуда их выпускали поодиночке между двумя рядами, и пуля или кол их приканчивали. Так погибли Редька-младший с братом и Савва Гурчин, — последний за то лишь, что когда-то разбил окна у Гаврилы, тестя Пидпары.

Трупы мокли в канаве, точно конопля, и кровью окрашивали воду, а над народом протянулись полосы синего дыма, будто руки упыря искали жертвы.

Короткий день кончился. Ветер развеял дым, рассеял последнее теплое дыхание убитых, разогнал тучи. С черного поля он неся дальше в черную безвесть и колыхал звезды, сверкавшие, как мелкое монисто, в кровавых водах канавы...

Маланка едва дотащилась до своей хаты. Упала впопыхах на лавку и опустила на колени бессильные руки. Весь день была на ногах, весь день вбирала в себя муки и кровь и столько людей похоронила в сердце, что оно наполнилось мертвецами, как кладбище. Даже онемела. Нет ни страха больше, ни жалости, она вся странно опустошенная, лишняя на свете и ненужная. Хорошо еще, что темно, ведь глаза ее не могли больше ничего вместить. Она ничего не хочет. Лишь бы темно было, как сейчас, и тихо.

Всё от нее бежит, все чуждаются ее. Был у нее Андрий — весь век бранилась с ним, а теперь нет уже и Андрия. Лелеяла мечту о земле, а земля восстала против нее, враждебная, жестокая, взбунтовалась и ушла из рук. Как марево, поманила и, как марево, исчезла. Лежит холодная и сосет теперь кровь...

Маланке больше ничего не нужно. Лишь бы темно было и вечно длилось молчание, как в могиле.

Скрипнула дверь.

— Кто там?

— Я.

Странно. Прожила жизнь, а она вдруг провалилась в бездну. Хотя бы след оставила, хоть бы память какую. Все охватил мрак. Все черно. Даже нынешний день отодвинулся далеко, так далеко, что кажется давним, давно забытым сном. Было ли это сегодня, или ничего не было? Одно только отчетливо светлеет в темноте: отрезанные пальцы Андрия. Три желтых обрубка в машинном масле с налипшим песком. Искала, где-то должен был быть четвертый, и не нашла.

Что бы поискать лучше!..

— Где ты была?

А пальцы извивались перед глазами, как черви. Синие ногти мутно блестели, как мертвый глаз, пожелтевшая кожа сморщилась, и между морщинами чернела грязь от

работы. Маланка их похоронила, только забыла где. Голова у нее начала болеть оттого, что не могла вспомнить.

— Где ты была?

— Марка спасала.

— Убежал?

— Убежал.

— А отца убили.

Больше не было слов. Ничто уже не будило черной тишины, вливавшейся сквозь окна в хату.

Тяжелым холодным сном спала за хатой земля, а высоко над ней трепетали звезды, точно в аквариуме неба играли золотые рыбки.

На рассвете казаки вступили в село...

31 марта 1910 г.

Чернигов

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ
(*Биографическая справка*)

Талантливейший украинский писатель конца XIX — начала XX века, Михаил Михайлович Коцюбинский родился в 1864 году в семье мелкого чиновника г. Винницы. Родители не смогли дать ему систематического образования, он закончил только начальную школу и бурсу, но благодаря упорной работе стал очень сведущим человеком в разных областях знания, владел несколькими языками. С 1886 года, после смерти отца, ему пришлось содержать большую семью. М. М. Коцюбинский вынужден был неоднократно менять работу, так как он не умел и не хотел угождать начальству и «влиятельным лицам». Он был сельским учителем, несколько лет работал в комиссии по борьбе с филлоксерой, заведовал конторой житомирской газеты «Волянь», служил делопроизводителем в черниговском земстве.

Уже будучи известным писателем, высоко оцененный такими современниками, как М. Горький и И. Франко, М. М. Коцюбинский все же должен был тянуть чиновничью ляжку. В автобиографии он писал: «Наибольшая драма моей жизни — это невозможность посвятить себя целиком литературе, ибо она, как вам известно, не только не обеспечивает материально, но требует еще расходов. Тем временем необходимость зарабатывать на кусок хлеба забирает у меня почти все свободное время и силы. Нет возможности возобновить свои впечатления, провести необходимое изучение, найти время для большой работы». Только за полтора года до смерти, последовавшей в 1913 году, он получил, наконец, возможность полностью отдаться творческому труду и в этот короткий срок создал еще ряд значительных произведений (повести «Сон», «Тени забытых предков», рассказы «Подарок на именины», «Лошади не виноваты», «Хвала жизни»).

Русская и украинская классическая литература, нелегальные издания произведений революционных демократов сформировали его мировоззрение и способствовали выработке художественного мастерства.

Литературные способности М. М. Коцюбинского проявились еще в детстве. В автобиографии писатель рассказывает, что в девять-десять лет он складывал украинские песни по образцу народных, а в двенадцать лет написал на русском языке повесть. Эти детские опыты не сохранились. Настоящая творческая биография М. М. Коцюбинского начинается написанной в 1884 году повестью «Андрій Соловейко, или ученье свет, а неученье тьма», не опубликованной при жизни писателя. Первое выступление М. М. Коцюбинского в печати — стихотворение «Наша хатка» (1890, журнал «Дзвінок»).

Творчество М. М. Коцюбинского определяется подготовкой и развитием первой русской революции. Уже в ранних повестях и рассказах он выступал против классового и национального гнета. Произведения, непосредственно связанные с революцией 1905—1907 годов, проникнутые ненавистью к царскому самодержавию, мобилизующие народ на борьбу с помещичье-монархическим строем, — наиболее зрелые, совершенные в творческом наследии М. М. Коцюбинского. Среди них рассказы «Смех», «Персона грата», «Что записано в книгу жизни», «Подарок на именины», «Лошади не виноваты», повесть «Фата моргана» и другие.

Повесть «Фата моргана» занимает особое место и в творчестве М. М. Коцюбинского и во всем многонациональном классическом наследии нашего народа. В ней в убедительных жизненных образах показана сила и слабость первой русской революции, впервые в украинской литературе выведен молодой рабочий-революционер, организатор и руководитель крестьянского революционного движения, показано классовое расслоение и классовая борьба в деревне той эпохи. Первая часть повести написана в 1903, вторая — в 1910 году. Работая над повестью, М. М. Коцюбинский использовал большое количество фактических материалов и непосредственных наблюдений, а в основу сюжета положил действительные события в селе Выховство Черниговской губернии.

В рассказах, относящихся к эпохе первой русской революции, М. М. Коцюбинский резко разоблачает предательскую роль либералов всех мастей, прикрывающих революционными фразами свою истинную сущность («Смех», «Куколка», «В дороге», «Лошади не виноваты» и другие). И в период реакции М. М. Коцюбинский выступал как последовательный реалист, когда во всех областях искус-

ства и в литературе некоторое распространение получили модернисты и декаденты.

С семнадцати лет и на протяжении всей своей жизни М. М. Коцюбинский состоял под надзором полиции за «политическую неблагонадежность». По своему мировоззрению и художественной практике он был близок марксизму. Он был не только писателем, но и неутомимым общественным деятелем. Большая заслуга принадлежит ему в борьбе с буржуазным национализмом и либерализмом, которые он разоблачал и в своих художественных произведениях, и в выступлениях, и в переписке с украинскими и русскими писателями.

В течение последних лет жизни М. М. Коцюбинский был дружен с М. Горьким, с которым познакомился на Капри в 1909 году. Влияние М. Горького на его творчество не связано только с временем личного знакомства обоих писателей, его легко проследить уже в довольно ранних произведениях М. М. Коцюбинского. Украинский писатель был одним из лучших и талантливейших борцов лагеря прогрессивной, революционной литературы, возглавляемого М. Горьким.

Творческое наследие М. М. Коцюбинского невелико, но оно охватывает самые разнообразные явления жизни. В повестях и рассказах он осуществил призыв, с которым обращался к украинским писателям: «Читатель имеет право ждать и от родной литературы более широкого поля наблюдений, верного изображения разных сторон жизни всех, а не только какого-нибудь слоя общества, он хотел бы встретиться в беллетристике нашей с обработкой тем философских, психологических, исторических и т. п.». Наряду с лучшими украинскими писателями своего времени — И. Франко, Лесей Украинкой, Панасом Мирным и другими — М. М. Коцюбинский создал правдивые картины жизни самых разнообразных слоев общества эпохи первой русской революции, отразив происходившую в нем борьбу революционных и реакционных сил.

Е. Цинговатова

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	30
М. М. Коцюбинский (Биографическая справка)	108

М А С С О В А Я С Е Р И Я

Обложка худож. В. Н. Ростовцева
Титул И. М. Гирель
Редактор Е. Цинговатова
Технический редактор Ж. Примак
Корректор В. Седова

*

Сдано в набор 23/X 1954 г. Подписано
в печать 13/XI 1954 г. А 06394. Бу-
мага 84 × 108¹/₃₂ д. 7 п. л. = 5,74
условн. печ. л. 5,63 уч.-изд. л. Тираж
150 000. Заказ № 3575. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат.
Москва, Ново-Басманная, 19.

3-я типография
«Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР
Москва, Краснопролетарская, 16.

Сканирование: nau

Обработка: krestik

1 р. 10 к.

ГОСЛИТИЗДАТ
1954